

Арсений

Ларковский

Стихотворения







Гостя-звезда
1929 • 1940

Перед снегом
1941 • 1962

Земле-земное
1941 • 1966

Вестник
1966 • 1971

Арсений
Гарковский
Стихотворения



москва

·ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА·

1974

Р 2

Т 19

Предисловие
МАРГАРИТЫ АЛИГЕР

Художник
Е. ГАННУШКИН

© Предисловие, стихотворения, отмеченные в содержании *, и оформление, издательство «Художественная литература», 1974 г.

Т $\frac{70402-178}{028(01)-74}$ 73-74

СУДЬБА ПОЭТА

Каждая поэтическая книга — кусок существования, отрезок жизни того, кто ее написал, то есть прожил, прочувствовал, пропустил через свою душу. А книга, раскрытая перед нами, не отрезок, но целая жизнь поэта, имя которому — Арсений Тарковский. Любители истиной поэзии знают это имя давно и отлично, поскольку же в народе у нас им несть числа, то, стало быть, Арсений Тарковский широко известный поэт. Широко известный, несмотря на то, что, перевалив уже за свое шестидесятилетие, выпустил всего три сборника стихов. Широко известный, несмотря на это, а может быть именно поэтому. Я не оговори-лась,— я и впрямь полагаю, что поэт, выступающий пусть редко, но весомо и значительно, поэт не примелькавшийся, в конце концов бывает особенно трепетно принят и оценен главным нашим другом и судьей — читателем поэзии.

Первая книга Арсения Тарковского — «Перед снегом» вышла в 1962 году. Спустя четыре года он выпустил сборник «Земле — земное», еще через три года появился «Вестник». Вот какой аннотацией была снабжена первая книжка:

«Арсений Тарковский, широко известный переводчик, предстает в книге «Перед снегом» как

оригинальный поэт. В книге собраны стихи за несколько десятилетий, она является итогом большой и серьезной работы, за которой открывается сложный мир... мыслей, чувств и воспоминаний современника».

И все. Всего несколько строк. А в них, за ними — целая судьба. Судьба поэта, существа способного и даже обязанного прожить за одну свою жизнь множество других жизней, судьба поэта, пишущего очень давно и лишь после пятидесятилетия выпустившего первую книжку оригинальных стихов. Как назвать такую судьбу? Странная? Горькая? Стоит ли торопиться с определениями? Не лучше ли пристальней приглядеться к этой судьбе, глубже вникнуть в ее суть, в полной мере встающую в путях и перепутьях, которыми проходит от стихотворения к стихотворению живая, отзывчивая, неизменно движущаяся душа поэта.

Начать книгу — для ее автора обычно нелегкая задача. Всегда есть угроза, что читатель, просмотрев несколько первых стихотворений, ничем не захваченный, не изумленный, равнодушно отложит книгу. Бывает, что иные поэты заигрывают с читателем, заискивают перед ним, стараясь начать с чего-то самого доходчивого, и далеко не всегда угадывают и достигают желаемого. Арсению Тарковскому неведомы такие заботы. Полная естественность во всем — вот, пожалуй, одна из характернейших черт этого поэта. Естественность чувств, мыслей, естественность их выражения, естественность интонаций, о чем бы он ни говорил. Естественность ощущения себя в своем огромном и многомерном мире, не ограниченном никакими пределами. «Я вызову любое из столетий, войду

в него и дом построю в нем», — просто и твердо заявляет Тарковский, и мы безоговорочно верим ему.

Эта естественность особенно ценна потому, что мир поэзии Тарковского не прост и не легок. Он говорит о сложных чувствах, о сложных явлениях, о сложности человека и условий его существования, о сложных перипетиях истории. Естественность интонации поэта отнюдь не упрощает сложности мира, в котором существует человек, но делает естественной даже эту сложность, и человек перед ней не пасует, не теряется, а встает твердо и прямо, ко всему готовый, ничего не страшась.

Другое сразу осязаемое свойство поэзии Тарковского — поразительная весомость. Она прежде всего в мыслях и чувствах его поэзии, — он никогда не пишет о мелочах, о несущественном. А может быть, все написанное им становится столь существенным и значительным благодаря весомости всей фактуры стиха: интонации, ритмов, отдельного слова. Строительный материал, из которого Тарковский возводит стихи, отличается прочностью, надежностью, плотностью каждой строки, целостностью каждой строфы. Вот как он сам пишет о своей работе:

Я любил свой мучительный труд, эту кладку
Слов, скрепленных их собственным светом,
загадку
Смутных чувств...

В строительном искусстве существуют секреты кладки каменных стен, которыми владели люди в древности, особенно на Востоке. Стены этой мудреной кладки сохранились кое-где у нас в Крыму,

мне доводилось видеть нечто похожее и в старых городках Италии, и в Провансе, и даже в индейских поселениях Южной Америки. Арсений Тарковский владеет подобным секретом кладки поэтической строфы, в которой не заменить, не переставить ни слова, как не вынуть камня из тех старых стен.

Вот, к примеру, удивительное стихотворение «Рукопись». Это сонет, казалось бы, давно «отработанная» поэзией форма, но как оживает она сегодня у Тарковского:

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сгорела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог
Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц. Я пел со всеми вместе.

И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

Корневые связи — глубокая основа поэзии Тарковского. Корни его поэзии проникают в глубины вселенной, распространяются широко и далеко в пространстве и времени, и в какие бы отвлеченные сферы ни забиралась благодаря им упорная мысль поэта, его проникновение в них, его связь с ними лишены позы или искусственности. Стихи, питаемые глубокими корневыми связями, всегда органичны, всегда убеждают.

Говорить о стихах вообще трудно, о прекрасных стихах — трудно вдвойне. Их воспринимаешь чувством, как музыку, а разве легко рассказать о ней? Но если все же заставить себя, отрешившись от обволакивающей магии поэзии, приглядеться к приемам письма, которыми пользуется Тарковский, станет очевидным его искусство возвращать словам их истинную цену и весомость, умение столь избирательно и бережно вкраплять в свой словарь новое слово или новое понятие, что они озаряют новым светом и все стихотворение. Вот например:

Когда купальщица с тяжелою косой
Выходит из воды, одна в полдневном зное,
И прячется в тени, тогда ручей лесной
В зеленых зеркальцах поет совсем иное.

Над хрупкой чешуей светло-студеных вод
Сторукий бог ручьев свои рога склоняет,
И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.

Столь внезапное вторжение «самолета» и «новых времен» в стихи, живущие как бы совсем вне времени, преображает весь образный строй стихотворения и привлекает наше внимание гораздо сильнее, нежели несчетные и стершиеся от частого употребления «приметы времени» в иных стихах, злоупотребляющих ими.

Точно так же выигрывает Тарковский, разменивая большие темы на множество вариантов, неизбежно притупляющих их остроту и выразительность. Поэты предвоенных лет неизменно думали и с самыми лучшими намерениями постоянно писали об ощутимой близости войны, зачастую повторяя при этом друг друга и самих себя. Рефрен «Если завтра война...» уже переставал вол-

новать, превращаясь в некий обязательный аксессуар. А одно-единственное стихотворение Тарковского «Близость войны» тревожит и сейчас, через тридцать с лишним лет.

Если Арсений Тарковский начал первый раздел своей книги словно бы и не задумываясь, с чего начать, то заключает он его вполне осознанно. «Сверчок» — мудрые и точные стихи о поэзии и о поэте:

Если правду сказать,
я по крови — домашний
сверчок,
Заповедную песню
пою над печною золой,
И один для меня
приготовит крутой кипяток,
А другой для меня
приготовит шесток золотой.

Да, поэт знает, что его заповедную песню далеко не все воспринимают одинаково, но этого ему и не нужно, — он готов и к золотому шестку, и к крутому кипятку, уверенный в себе и в смысле своего существования:

Ты не слышишь меня,
голос мой — как часы за стеной,
А прислушайся только —
и я поведу за собой,
Я весь дом подыму:
просыпайтесь, я сторож ночной!

Вполне закономерно, что Тарковский много пишет о своем труде. Он говорит о себе и своих стихах скромно, просто, никогда не вознося свое поэтическое предназначение на недостижимые высоты:

Был язык мой правдив, как спектральный анализ,
А слова у меня под ногами валялись.

И в другом случае:

Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.

Только истинный поэт может так просто и буднично говорить о своем искусстве. С подлинным величием и тонкой иронией сделала это Анна Ахматова:

Подумаешь, тоже работа
Беспечное это житье,
Подслушать у музыки что-то
И выдать потом за свое.

Но, упоминая о себе — поэте — более чем скромно, Тарковский при этом в полной мере осознает главное:

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,
Равнодушием отчей земли не обидел...

Земля в стихах Тарковского означает очень много и занимает весьма существенное место. Он неотделим от нее, она дает ему жизнь и жизненные силы:

Мне грешная моя, невинная
Земля моя передает
Свое терпенье муравьиное
И душу крепкую, как йод.

И он, в свою очередь, отдает ей все, что может:

Мало взял я у земли для неба,
Больше взял у неба для земли.

Он живет на земле, с землей, ощущая вечное свое присутствие в ее минувшем, настоящем и будущем. И когда на этой земле и за эту землю начинается страшная война, поэт Арсений Тарковский становится ее участником, солдатом в самом прямом и высоком смысле слова. И эта новая форма существования души привносит в его поэзию новые интонации, новые ритмы и новый рисунок стиха. Совсем по-иному, чем до войны, написаны: «Суббота, 21 июня», «Ехал из Брянска в теплушке слепой...», «Иванова ива», где убитый в бою Иван не исчезает, а только возвращается «под иву свою», в родную землю,— как это естественно для Тарковского!

Стихи войны, пережитой Арсением Тарковским,— горячая и высокая поэзия. Весомо и тревожно звучат строки, заключающие военный раздел:

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

В эти грядущие времена поэзия Тарковского устремляется так же решительно и естественно. Тут ему помогают и воображение, и фантазия, и драгоценная поэтическая память. С необычайной зоркостью и замахом в будущее написано стихотворение «Вещи». Читая его, вновь чувствуешь тот особый секрет кладки, благодаря которому стихи, столь точно и плотно пишущие прошлое, каким-то непостижимым образом одним рывком переносят нас в будущее.

Своеобразное ощущение истории в «Петровских казнях», осязаемость «Бессонницы», «Ночной ра-

боты», «Олив», «Полевого госпиталя», «Дороги». И вдруг «сказки» (правда, определение жанра тут довольно условное) — опять новые интонации и звучания: шутка, улыбка, ирония... И трагический «Актер», и внезапный взлет фантазии — тревожный, даже жуткий «Лазурный луч». И повествования о художнике Пауле Клее, об умирающей детдомовской девочке Аньке. И, наконец, полное выдумки и сочной живописи «Новоселье».

Последний раздел книги — «Вестник», стихи 1966—1971 годов. Ну, что ж, можно только позавидовать поэту, шагнувшему за свои шестьдесят в такой отличной форме. Стихи сильной мускулатуры, полные горячей крови. Великолепное многозвучие: и торжественный строй стихотворений «Когда вступают в строй природа и словарь...» или «Я по каменной книге учу вневременный язык...», и живая разговорная интонация «Зимы в детстве», и то, что лично мне всего дороже у Тарковского, — четкая предметность и точность, удивительное мастерство и прочность архитектуры, как в стихотворении «Тогда еще не воевали с Германией...». Здесь есть строфа, сразу высветляющая все вокруг отблеском тревожного и грозного времени, в котором нам выпало прожить жизнь:

Казалось, что этого дома хозяева
Навечно в своей довоенной Европе,
Что не было, нет и не будет Сараева,
И где они, эти мазурские топи?..

Поток стихов Тарковского никогда не мелеет, нас увлекает его сильное течение, и мы понимаем, что вся эта плотная и живая масса, вся эта своеобразная материя, захватывающая и несущая с собой читателя, — естественная и непрелож-

ная потребность души поэта. Такая жгучая потребность писать мир вокруг себя и в себе — залог того, что написанное будет необходимо и другим людям. Хотя открытая публицистичность и информационность и чужды Тарковскому, все, что волнует человечество, неизменно и неизбежно проникает в его поэзию, вероятно, по той самой глубокой корневой системе, из самых глубин земли, занесенное в нее дождями, омывающими мировые пространства, ветрами, пролетающими над материками и океанами. И вот какие, казалось бы, оstraненные и одновременно непререкаемые ответы дают его стихи на самые жгучие вопросы действительности:

Садится ночь на подоконник,
Очки волшебные надев,
И длинный вавилонский сонник,
Как жрец, читает нараспев.

Уходят вверх ее ступени,
Но нет перил над пустотой,
Где судят тени, как на сцене,
Иноязычный разум твой.

Ни смысла, ни числа, ни меры.
А судьи кто? И в чем твой грех?
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна для всех.

И если принять как условие, что эта первая клинопись — начало и исток письменности, мировой культуры, искусства, то, стало быть, эти начала общи и едины и, несмотря ни на что и вопреки всему, человечество навеки крепко спаяно своими общими сокровищами: искусством и культурой. И, разумеется, историей. Эти три бессмертных сокровища — величайшее завоевание челове-

ка, и счастлив тот из людей, который участвует в их созидании. Для него нет в мире ни страха, ни одиночества, он окружен братьями, друзьями, единомышленниками, хранящими для будущего врученный им прошлым вечный огонь, озаряющий и согревающий землю и жизнь на земле:

Вы, жившие на свете для меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли,
Спасибо вам, вы хорошо горели.

В эти «от» и «до» можно уместить множество высоких и прекрасных имен, проживших жизнь ради того, чтобы в ней возник и Арсений Тарковский. Сам он — тоже из тех поэтов, для которых высшее наслаждение «хорошо гореть» и в который раз сгорать для того, чтобы ярко вспыхнуло еще одно настоящее стихотворение:

А разве я не хорошо горю
И разве равнодушием корю
Вас, для кого я столько жил на свете,
Трава и звезды, бабочки и дети?

И даже радость публикации стихов, превращение их из личного, сокровенного достояния поэта в общее, меркнет перед радостью творчества. Публикация стихов — переживание совсем иного порядка, нелегкое, если не мучительное, отчуждение, отрывание их от себя, разлука и прощание с ними:

Стихи понадают в печать,
И в точках, расставленных с толком,
Себя невозможно признать
Бессонниц моих кривотолкам.

И это не книга моя,
А в дальней дороге без весел
Идет по стремнине ладья,
Что сам я у пристани бросил.

Вот я и вернулась к началу этого разговора, туда, где остановилась в нерешительности, не зная, каким определением или прилагательным следует обозначить поэтическую судьбу Арсения Тарковского. Нет ничего проще, чем воскликнуть: какая горькая судьба! Но, может быть, поэт по каким-то ему одному ведомым причинам сам избрал для себя такую судьбу? И, может быть, именно она чем-то многократно усилила поэзию Тарковского, в большой мере сохранила ее первозданность и неповторимость? Может быть, именно поэтическая судьба Арсения Тарковского и сберегла его для нас? Кто знает?! Трудно что-либо утверждать, если приходится мыслить только в сослагательном наклонении... А вернее всего, не стоит искать прилагательные и определения для столь емкого и многозначного понятия, как судьба поэта. Эти два слова и сами по себе достаточно много значат, ибо отнюдь не у каждого поэта есть она, своя судьба. У Арсения Тарковского она весома и значительна, и книга, собранная им, глубокое повествование об этой судьбе.

Маргарита Алигер

Июнь, 1973

Гостя

звезда

1929·1940

1.

КОЛЫБЕЛЬ

Андрею Т.

Она:

Что всю ночь не спишь, прохожий,
Что бредешь — не добредешь,
Говоришь одно и то же,
Спать ребенку не даешь?
Кто тебя еще услышит?
Что тебе делить со мной?
Он, как белый голубь, дышит
В колыбели лубяной.

Он:

Вечер приходит, поля голубеют, земля
сиротеет.
Кто мне поможет воды зачерпнуть из
криницы глубокой?
Нет у меня ничего, я все растерял
по дороге;
День провожаю, звезду встречаю. Дай мне
напиться.

Она:

Где криница — там водица,
А криница на пути.
Не могу я дать напиться,

* * *

Река Сугакля уходит в камыш,
Бумажный кораблик плывет по реке,
Ребенок стоит на песке золотом,
В руках его яблоко и стрекоза.
Покрытое радужной сеткой крыло
Звенит, и бумажный корабль на волнах
Качается, ветер в песке шелестит,
И все навсегда остается таким...
А где стрекоза? Улетела. А где
Кораблик? Уплыл. Где река? Утекла.

ДОМ

Юность я проморгал у судьбы на
задворках,
Есть такие дворы в городах —
Подымают бугры в шелушащихся корках,
Дышат охрой и дранку трясут в коробах.

В дом вошел я как в зеркало, жил
наизнанку,
Будто сам городил колченогий забор,
Стол поставил и дверь притворил
спозаранку,
Очутился в коробке, открытой во двор.

Погоди, дай мне выбраться только отсюда,
Надоест мне пластаться в окне на весу;
Что мне делать? Глумись надо мною,
покуда
Все твои короба растрясусь.

Так себя самого я угрозами выдал.
Ничего, мы еще за себя постоим.
Старый дом за спиной набухает, как подол,
Шелудивую глину трясут перед ним.



Под сердцем травы тяжелеют росинки,
Ребенок идет босиком по тропинке,
Несет землянику в открытой корзинке,
А я на него из окошка смотрю,
Как будто в корзинке несет он зарю.

Когда бы ко мне побежала тропинка,
Когда бы в руке закачалась корзинка,
Не стал бы глядеть я на дом под горой,
Не стал бы завидовать доле другой,
Не стал бы совсем возвращаться домой.

Если б, как прежде, я был горделив,
Я бы оставил тебя навсегда;
Все, с чем расстаться нельзя ни за что,
Все, с чем возиться не стоит труда, —
Надвое царство мое разделив.

Я бы сказал:

— Ты уносишь с собой
Сто обещаний, сто праздников, сто
Слов. Это можешь с собой унести.

Мне остается холодный рассвет,
Сто запоздалых трамваев и сто
Капель дождя на трамвайном пути,
Сто переулков, сто улиц и сто
Капель дождя, побежавших вослед.

А идешь — и капнет с крыши: дом и ниша
у ворот,
Белый шар над круглой пищей, и читаешь:
кто живет?

Есть особые ворота и особые дома,
Есть особая примета, точно молодость сама.

СТРАУС В 1913 ГОДУ

Показывали страуса в Пассаже.

Холодная коробка магазина,
И серый свет из-под стеклянной крыши,
Да эта керосинка на прилавке —
Оп ко всему давным-давно привык.
Нахохлившись, на сонные глаза
Надвинул фиолетовые веки
И посреди пустого помещенья,
Не двигаясь, как чучело, стоял,
Так утвердив негнущиеся ноги,
Чтоб можно было, не меняя позы,
Стоять хоть целый час, хоть целый день
Без всякой мысли, без воспоминаний.

И научился он небытию
И ни на что не обращал вниманья —
Толкнет его хозяин или нет,
Засыплет корму или не засыплет,
И если б даже захотел, не мог
Из этого оцепененья выйти.

ГРАД НА ПЕРВОЙ МЕЩАНСКОЙ

Бьют часы на башне,
Подымается ветер,
Прохожие — в парадные,
Хлопают двери,
По тротуару бегут босоножки,
Дождь за ними гонится,
Бьется сердце,
Мешает платью,
И розы намокли.

Град
 расшибается вдребезги
 над самой лишой.

Все же
Понемногу отворяются окна,
В серебряной чешуе мостовые,
Дети грызут ледяные орехи.

25 ИЮНЯ 1935

Хорош ли праздник мой, малиновый иль
серый,
Но все мне кажется, что розы на окне,
И не признательность, а чувство полной
меры
Бывает в этот день всегда присуще мне.
А если я не прав, тогда скажи — на что же
Мне тишина травы, и дружба роц моих,
И стрелы птичьих крыл, и плеск ручьев,
похожий
На объяснение в любви глухонемых?

ИГНАТЬЕВСКИЙ ЛЕС

Последних листьев жар сплошным
самосожженьем
Восходит на́ небо, и на пути твоём
Весь этот лес живет таким же раздраженьем,
Каким последний год и мы с тобой живем.

В заплаканных глазах отражена дорога,
Как в пойме сумрачной кусты отражены.
Не привередничай, не угрожай, не трогай,
Не задевай лесной наволгшей тишины.

Ты можешь услышать дыханье старой жизни:
Осклизлые грибы в сырой траве растут,
До самых сердцевин их проточили слизи,
А кожу все-таки щекочет влажный зуд.

Все наше прошлое похоже на угрозу —
Смотри, сейчас вернусь, гляди, убью сейчас!
А небо ежится и держит клен, как розу, —
Пусть жжет еще сильнее! — почти у самых
глаз.



Когда купальщица с тяжелою косой
Выходит из воды, одна в полдневном зное,
И прячется в тени, тогда ручей лесной
В зеленых зеркальцах поет совсем иное.

Над хрупкой чешуей светло-студеных вод
Сторукий бог ручьев свои рога склоняет,
И только стрекоза, как первый самолет,
О новых временах напоминает.

МЕЛЬНИЦА В ДАРГАВСКОМ УЩЕЛЬЕ

Все жужжит беспокойное веретено —
То ли осы снуют, то ли гнется камыш, —
Осетинская мельница мелет зерно,
Ты в Даргавском ущелье стоишь.

Там в плетеной корзине скрипят жернова,
Колесо без оглядки бежит, как пришлось,
И, в толченый хрусталь окунув рукава,
Белый лебедь бросается вкось.

Мне бы мельника встретить: он жил над
рекой,
Ни о чем не тужил и ходил по дворам,
Он ходил — торговал нехорошей мукой,
Горьковатой, с песком пополам.

ПОРТРЕТ

Никого со мною нет.
На стене висит портрет.

По слепым глазам старухи
Ходят мухи,
 мухи,
 мухи.

— Хорошо ли, — говорю, —
Под стеклом в твоём раю?

По щеке сползает муха,
Отвечает мне старуха:

— А тебе в твоём доме
Хорошо ли одному?



Отнятая у меня, почами
Плакавшая обо мне, в нестрогом
Черном платье, с детскими плечами,
Лучший дар, не возвращенный богом,

Заклинаю прошлым, настоящим,
Крепче спи, не всхлипывай спросонок,
Не следи за мной зрачком косящим,
Ангел, олененок, соколенок.

Из камней Шумера, из пустыни
Аравийской, из какого круга
Памяти — в сиянии гордыни
Горло мне захлестываешь туго?

Я не знаю, где твоя держава,
И не знаю, как сложить заклятье,
Чтобы снова потерять мне право
На твое дыханье, руки, платье.

Я так давно родился,
Что слышу иногда,
Как надо мной проходит
Студеная вода.
А я лежу на дне речном,
И если песню петь —
С травы начнем, песку зачерпнем
И губ не разомкнем.

Я так давно родился.
Что говорить не могу,
И город мне приснился
На каменном берегу.
А я лежу на дне речном
И вижу из воды
Далекий свет, высокий дом,
Зеленый луч звезды.

Я так давно родился,
Что если ты придешь
И руку положишь мне на глаза,
То это будет ложь,
А я тебя удержать не могу,
И если ты уйдешь
И я за тобой не пойду, как слепой,
То это будет ложь.

ДОЖДЬ

Как я хочу вдохнуть в стихотворенье
Весь этот мир, меняющий обличье:
Травы неуловимое движенье,

Мгновенное и смутное величье
Деревьев, раздраженный и крылатый
Сухой песок, щебечущий по-птичьи, —

Весь этот мир, прекрасный и горбатый,
Как дерево на берегу Ингула.
Там я услышал первые раскаты

Грозы. Она в бараний рог согнула
Упрямый ствол, и я увидел крону —
Зеленый слепок грозового гула.

А дождь бежал по глиняному склону,
Гонимый стрелами, ветвисторогий,
Уже во всем подобный Актеону.

У ног моих он пал на полдороге.

БЛИЗОСТЬ ВОЙНЫ

Кто может умереть — умрет,
Кто выживет — бессмертен будет,
Пойдет греметь из рода в род,
Его и правнук не осудит.

На предпоследнюю войну
Бок о бок с новыми друзьями
Пойдем в чужую сторону.
Да будет память близких с нами!

Счастливец, кто переживет
Друзей и подвиг свой военный,
Залечит раны и пойдет
В последний бой со всей вселенной.

И слава будет не слова,
А свет для всех, но только проще,
И эта жизнь — плакун-трава
Пред той широкошумной рощей.

* * *

С утра я тебя дожидался вчера,
Они догадались, что ты не придешь,
Ты помнишь, какая погода была?
Как в праздник! И я выходил без пальто.

Сегодня пришла, и устроили нам
Какой-то особенно пасмурный день,
И дождь, и особенно поздний час,
И капли бегут по холодным ветвям.

Ни словом унять, ни платком утереть...

ЯЛИК

Что ты бредишь, глазной хрусталик?
Хоть бы сам себя поберег.
Не качается лодочка-ялик,
Не взлетает птица-нырок.

Камыши полосы прибрежной
Достаются на краткий срок.
Что ты бродишь, неосторожный,
Вдалеке от больших дорог?

Все, что свято, все, что крылато,
Все, что пело мне: «Добрый путь!» —
Меркнет в желтом огне заката.
Как ты смел туда заглянуть?

Там ребенок пел загорелый,
Не хотел возвращаться домой,
И качался ялик твой белый
С голубым флажком над кормой.

ЗВЕЗДНЫЙ КАТАЛОГ

До сих пор мне было невдомек —
Для чего мне звездный каталог?
В каталоге десять миллионов
Номеров небесных телефонов,
Десять миллионов номеров
Телефонов марев и миров,
Полный свод свеченья и мерцанья,
Список абонентов мирозданья.
Я-то знаю, как зовут звезду,
Я и телефон ее найду,
Пережду я очередь земную,
Поверну я азбуку стальную:

— А-13-40-25.

Я не знаю, где тебя искать.

Запоет мембрана телефона:
— Отвечает альфа Ориона.
Я в дороге, я теперь звезда,
Я тебя забыла навсегда.
Я звезда — денницына сестрица,
Я тебе не захочу присниться,
До тебя мне дела больше нет.
Позвони мне через триста лет.

ЦЕЙСКИЙ ЛЕДНИК

Друг, за чашу благодарствуй,
Небо я держу в руке,
Горный воздух государства
Пью на Цейском леднике.

Здесь хранит сама природа
Явный след былых времен —
Девятнадцатого года
Очистительный озон.

А внизу из труб Садона
Сизый тянется дымок,
Чтоб меня во время оно
Этот холод не увлек.

Там над крышами, как сетка,
Дождик дышит и дрожит,
И по нитке вагонетка
Черной бусиной бежит.

Я присутствую при встрече
Двух времен и двух высот,
И колючий снег на плечи
Старый Цее мне кладет.

СВЕРЧОК

Если правду сказать,
я по крови — домашний
сверчок.

Заповедную песню
пою над печною золой,
И один для меня
приготовит крутой кипяток,
А другой для меня
приготовит шесток золотой.

Путешественник вспомнит
мой голос в далеком краю,
Даже если меня
променяет на знойных цикад.
Сам не знаю, кто выстругал
бедную скрипку мою,
Знаю только, что песнями
я, как цикада, богат.

Сколько русских согласных
в полночном моем языке,
Сколько я поговорок
сложил в коробок лубяной,
Чтобы шарили дети
в моем лубяном коробке,

В старой скрипке запечной
с единственной медной струной.

Ты не слышишь меня,
голос мой — как часы за стеной,

А прислушайся только —
и я поведу за собой,

Я весь дом подыму:
просыпайтесь, я сторож ночной!

И заречье твое
отзовется сигнальной трубой.

II
II *перед*

СНЕГОМ

1941 · 1962

2.

ТОЛЬКО ГРЯДУЩЕЕ

Рассчитанный на одного, как номер
Гостиницы — с одним окном, с одной
Кроватью и одним столом, я жил
На белом свете, и моя душа
Привыкла к телу моему. Бывало,
В окно посмотрит, полежит в постели,
К столу присядет — и скрипит пером,
Творя свою нехитрую работу.

А за окном ходили горожане,
Грузовики трубили, дождь шумел,
Посвистывали милиционеры,
Всходило солнце — наступало утро,
Всходили звезды — наступала ночь,
И небо то светлело, то темнело.

И город полюбил я, как приезжий,
И полон был счастливых впечатлений.
Я новое любил за новизну,
А повседневное — за повседневность,
И так как этот мир четырехмерен,
Мне будущее приходилось впору.

Но кончилось мое уединенье.
В пятнадцатирублевый номер мой
Еще один вселился постоялец,

И новая душа плодиться стала,
Как хромосома на стекле предметном.
Я собственной томился теснотой,
Хотя и раздвигался, будто город,
И слободами громоздился.

Я

Мост перекинул через речку.

Мне

Рабочих не хватало. Мы пылили
Цементом, грохотали кирпичом
И кожу бугорчатую земли
Бульдозерами до костей сдирали.

Хвала тому, кто потерял себя!
Хвала тебе, мой быт, лишенный быта!
Хвала тебе, благословенный тензор,
Хвала тебе, иных времен язык!
Сто лет пройдет — нам не понять его,
Я перед ним из «Слова о полку»,
Лежу себе, побитый татарвой:
Нас тысяча на берегу Каялы,
Копье торчит в траве,

а на копье

Степной орел седые перья чистит.

РУКИ

Взглянул я на руки свои
Внимательно, как на чужие:
Какие они корневые —
Из крепкой рабочей семьи.

Надежная старая стать
Для дружеских твердых пожатий;
Им плуга бы две рукояти,
Буханку бы хлебную дать,

Держать бы им сердце земли,
Да все мы, видать, звездолюбцы,—
И в небо мои пятизубцы
Двумя якорями росли.

Так вот чем наш подвиг велик:
Один и другой пятерик
Свой труд принимают за благо,
И древней атлантовой тягой
К ступням прикипел материк.

К СТИХАМ

Стихи мои, штенцы, наследники,
Душеприказчики, истцы,
Молчальники и собеседники,
Смиренники и гордецы!

Я сам без роду и без племени
И чудом вырос из-под рук,
Едва меня лопата времени
Швырнула на гончарный круг.

Мне вытянули горло длинное,
И выкруглили душу мне,
И обозначили былинные
Цветы и листья на спине,

И я раздвинул жар березовый,
Как заповедал Даниил,
Благословил закал свой розовый,
И как пророк заговорил.

Скупой, охряной, неприкаянной
Я долго был землей, а вы
Упали мне на грудь нечаянно
Из клювов птиц, из глаз травы.



Я учился траве, раскрывая тетрадь,
И трава начинала как флейта звучать.
Я ловил соответствия звука и цвета,
И когда запевала свой гимн стрекоза,
Меж зеленых ладов проходя, как комета,
Я-то знал, что любая росинка — слеза.
Знал, что в каждой фасетке огромного ока,
В каждой радуге яркострекочущих крыл
Обитает горящее слово пророка,
И Адамову тайну я чудом открыл.

Я любил свой мучительный труд, эту
кладку
Слов, скрепленных их собственным
светом, загадку
Смутных чувств и простую разгадку ума,
В слове *правда* мне виделась правда сама,
Был язык мой правдив, как спектральный
анализ.
А слова у меня под ногами валялись.

И еще я скажу: собеседник мой прав,
В четверть шума я слышал, в полсвета я
видел,
Но зато не унизил ни близких, ни трав,

Равнодушием отчей земли не обидел,
И пока на земле я работал, приняв
Дар студеной воды и пахучего хлеба,
Надо мною стояло бездонное небо,
Звезды падали мне на рукав.

СТЕПЬ

Земля сама себя глотает
И, тычась в небо головой,
Провалы памяти латает
То человеком, то травой.

Трава — под конскою подковой,
Душа — в коробке костяной,
И только слово, только слово
В степи маячит под луной.

А степь лежит, как Ниневия,
И на курганах валуны
Спят, как цари сторожевые,
Опившись оловом луны.

Последним умирает слово.
Но небо движется, пока
Сверло воды проходит снова
Сквозь жесткий щит материка.

Дохнет репейника ресница,
Сверкнет кузнечика седло,
Как радугу, степная птица
Расчешет сонное крыло.

И в сизом молоке по плечи
Из рая выйдет в степь Адам
И дар прямой разумной речи
Вернет и птицам и камням,

Любовный бред самосознания
Вдохнет, как душу, в корни трав,
Трепещущие их названья
Еще во сне пересоздав.

СТАНЬ САМИМ СОБОЙ

Werde der Du bist.

Gёте

Когда тебе придется туго,
Найдешь и сто рублей и друга.
Себя найти куда трудней,
Чем друга или сто рублей.

Ты вывернешься наизнанку,
Себя обшаришь спозаранку,
В одно смешаешь явь и сны,
Увидишь мир со стороны

И все и всех найдешь в порядке.
А ты — как ряженный на святки —
Играешь в прятки сам с собой,
С твоим искусством и судьбой.

В чужом костюме ходит Гамлет
И кое-что про что-то мямлит,—
Он хочет Моиси играть,
А не врагов отца карать.

Из миллиона вероятий
Тебе одно придется кстати,
Но не дается, как назло,
Твое заветное число.

Загородил полнеба гений,
Не по тебе его ступени,
Но даже под его ступой
Ты должен стать самим собой.

Найдешь и у пророка слово,
Но слово лучше у немого,
И ярче краска у слепца,
Когда отыскан угол зренья
И ты при вспышке озаренья
Собой угадан до конца.

СЛОВО

Слово только оболочка,
Пленка, звук пустой, но в нем
Бьется розовая точка,
Странным светится огнем,

Бьется жилка, вьется живчик,
А тебе и дела нет,
Что в сорочке твой счастливчик
Появляется на свет.

Власть от века есть у слова,
И уж если ты поэт,
И когда пути другого
У тебя на свете нет,

Не описывай заране
Ни сражений, ни любви,
Опасайся предсказаний,
Смерти лучше не зови!

Слово только оболочка,
Пленка жребиев людских,
На тебя любая строчка
Точит нож в стихах твоих.



Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был
И что я презирал, ненавидел, любил.

Начинается новая жизнь для меня,
И прощаюсь я с кожей вчерашнего дня.

Больше я от себя не желаю вестей
И прощаюсь с собою до мозга костей,

И уже, наконец, над собою стою,
Отделяю постылую душу мою,

В пустоте оставляю себя самого,
Равнодушно смотрю на себя — на него.

Здравствуй, здравствуй, моя ледяная
Здравствуй, хлеб без меня и вино без
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!
Сновидения ночи и бабочки дня,
Здравствуй, всё без меня и вы все без меня!

Я читаю страницы неписанных книг,
Слышу круглого яблока круглый язык,

Слышу белого облака белую речь,
Но ни слова для вас не умею сберечь,

Потому что сосудом скудельным я был
И не знаю, зачем сам себя я разбил.

Больше сферы подвижной в руке не держу
И ни слова без слова я вам не скажу.

А когда-то во мне находили слова
Люди, рыбы и камни, листва и трава.

Я долго добивался,
Чтоб из стихов своих
Я сам не порывался
Уйти, как лишний стих.

Где свистуны свистели
И щелкал щелкопер,
Я сам свое веселье
Отправил под топор.

Быть может, идиотство
Сполна платить судьбой
За паспортное сходство
Строки с самим собой.

А все-таки уставляю
Свои глаза на вас,
Себя в живых оставляю
На век или на час,

Оставляю в каждом звуке
И в каждой запятой
Натруженные руки
И трезвый опыт свой.

Вот почему без страха
Смотрю себе вперед,
Хоть рифма, точно плаха,
Меня сама берет.

КАКТУС

Далеко, далеко, за полсвета
От родимых долгот и широт,
Допотопное чудище это
У меня на окошке живет.

Что ему до воклюзского лавра
И персидских мучительниц-роз,
Если он под пятой бронтозавра
Ластовидной листвою оброс?

Терпеливый приемыш чужбины,
Доживая стотысячный век,
Гонит он из тугой сердцевины
Восковой криворукий побег.

Жажда жизни кору пробивала,—
Он живет во всю ширь своих плеч
Той же силой, что нам даровала
И в могилах звучащую речь.

ДЕРЕВО ЖАНЫ

Мне говорят, а я уже не слышу,
Что говорят. Моя душа к себе
Прислушивается, как Жанна Д'Арк.
Какие голоса тогда поют!

И управлять я научился ими:
То флейты вызываю, то фаготы,
То арфы. Иногда я просыпаюсь,
А все уже давным-давно звучит,
И кажется — финал не за горами.

Привет тебе, высокий ствол и ветви
Упругие, с листвой зелено-ржавой,
Таинственное дерево, откуда
Ко мне слетает птица первой ноты.

Но стоит взяться мне за карандаш,
Чтоб записать словами гул литавров,
Охотничьи сигналы духовых,
Весенние размытые порывы
Смычков,— я понимаю, что со мной:
Душа к губам прикладывает палец —
Молчи! молчи!

И все, чем смерть жива
И жизнь сложна, приобретает новый,

Прозрачный, очевидный, как стекло,
Внезапный смысл. И я молчу, но я
Весь без остатка, весь как есть — в
раструбе
Воронки, полной утреннего шума.

Вот почему, когда мы умираем,
Оказывается, что ни полслова
Не написали о себе самих,
И то, что прежде нам казалось нами,
Идет по кругу
Спокойно, отчужденно, вне сравнений
И нас уже в себе не заключает.

Ах, Жанна, Жанна, маленькая Жанна!
Пусть коронован твой король,— какая
Заслуга в том? Шумит волшебный дуб,
И что-то голос говорит, а ты
Огнем горишь в рубахе не по росту.

КО́РА

Когда я вечную разлуку
Хлебну, как ледяную ртуть,
Не уходи, но дай мне руку
И проводи в последний путь.

Постой у смертного порога
До темноты, как луч дневной,
Побудь со мной еще немного
Хоть в трех аршинах надо мной.

Ужасный рот царицы Кору
Улыбкой привечает нас,
И душу обнажают взоры
Ее слепых загробных глаз.

СОКРАТ

Я не хочу ни власти над людьми,
Ни почестей, ни войн победоносных.
Пусть я застыну, как смола на соснах,
Но я не царь, я из другой семьи.

Дано и вам, мою цикуту пьющим,
Пригубить немоту и глухоту.
Мне рубище раба не по хребту,
Я не один, но мы еще в грядущем.

Я плоть от вашей плоти, высота
Всех гор земных и глубина морская.
Как раковину мир переполняя,
Шумит по-олимпийски пустота.

КАРЛОВЫ ВАРЫ

Даже песня дается недаром,
И уж если намучились мы,
То какими дрожжами и жаром
Здесь когда-то вздымало холмы.

А холмам на широкую спину,
Как в седло, посадили кремли
И с ячменных полей десятину
В добрый Пильзен варить повезли.

Расцветай же, как лучшая роза
В наилучшем трехмерном плену,
Дорогая житейская проза,
Воспитавшая эту страну.

Пойте, честные чешские птицы,
Пойте, птицы, пока по холмам
Бродит грузный и розоволицый
Старый Гёте, столь преданный вам.

УТРО В ВЕНЕ

Где ветер бросает пожи
В стекло министерств и музеев,
С насмешливым свистом стрижи
Стригут комаров-ротозеев.

Оттуда на город забот,
Работ и вечерней зевоты,
На роботов Моцарт ведет
Свои насекомые ноты.

Живи, дорогая свирель!
Под праздник мы пол натирали,
И в окна посыпался хмель —
На каждого по сто спиралей.

И если уж смысла искать
В таком суматошном концерте,
То молодость, правду сказать,
Под старость опаснее смерти.

АНЖЕЛО СЕККИ

— Прости, мой дорогой мерцовский экваториал!

Слова Секки

Здесь, в Риме, после долгого изгнания,
Седой, полуслепой, полуживой,
Один среди небесного сиянья,
Стоит он с непокрытой головой.

Дыханье Рима — как сухие травы.
Привет тебе, последняя ступень!
Судьба лукава, и цари не правы,
А все-таки настал и этот день.

От мерцовского экваториала
Он старых рук не властен оторвать;
Урания не станет, как бывало,
В пустынной этой башне пировать.

Глотая горький воздух, гладит Секки
Давным-давно не чищенную медь.
— Прекрасный друг, расстанемся
навеки,
Дай мне теперь спокойно умереть.

Он сходит по ступеням обветшалым
К небытию, во прах, на Страшный суд,
И ласточки над экваториалом,
Как вестницы забвения, снуют.

Еще ребенком я оплакал эту
Высокую, мне родственную тень,
Чтоб, вслед за ней пройдя по белу
Благословить последнюю ступень. свету,



Пускай меня простит Винсент Ван-Гог
За то, что я помочь ему не мог,

За то, что я травы ему под ноги
Не постелил на выжженной дороге,

За то, что я не развязал шнурков
Его крестьянских пыльных башмаков,

За то, что в зной не дал ему напиться,
Не помешал в больнице застрелиться.

Стою себе, а падо мной навис
Закрученный, как пламя, кипарис.

Лимонный крон и темно-голубое,—
Без них не стал бы я самим собою;

Унизил бы я собственную речь,
Когда б чужую ношу сбросил с плеч.

А эта грубость ангела, с какою
Он свой мазок роднит с моей строкою.

Ведет и вас через его зрачок
Туда, где дышит звездами Ван-Гог.

БАЛЕТ

Пиликает скрипка, гудит барабан,
И флейта свистит по-эльзасски,
На сцену въезжает картонный рыдван
С раскрашенной куклой из сказки.

Оттуда ее вынимает партнер,
Под ляжку подставив ей руку,
И тащит силком на гостиничный двор,
К пиратам на верную муку.

Те точат кинжалы, и крутят усы,
И топают в такт каблуками,
Карманные враз вынимают часы
И дико сверкают белками,—

Мол, резать пора! Но в клубничном
трико,
В своем лебедином крахмале,
Над рампою прима взлетает легко,
И что-то вибрирует в зале.

Сценической чуши магический ток
Находит, как свист соловьиный,
И пробует волю твою на зубок
Холодный расчет балерины.

И весь этот пот, этот грим, этот клей,
Смущавшие вкус твой и чувства,
Уже завладели душою твоей.
Так что же такое искусство?

Наверное, будет угадана связь
Меж сценой и Дантовым адом,
Иначе откуда бы площадь взялась
Со всей этой шушерой рядом?

Я проклинаяю подошвы царских сандалий.
Кто я — лев или раб, чтобы мышцы мои
Без воздаянья в соленую землю втоптали
Прямоугольные каменные муравьи?

ПЕРЕВОДЧИК

Шах с бараньей мордой — на троне.
Самарканд — на шахской ладони.
У подножья — лиса в чалме
С тысячью двустий в уме.
Розы сахаринной породы,
Соловьиная пахлава.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Полуголый палач в застенке
Воду пьет и таращит зенки.
Все равно. Мертвеца в рядню
Зашивают, пока темно.
Спи без прбсыпу, царь природы.
Где твой меч и твои права?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

Да пребудет роза редифом,
Да царит пад голодным тифом
И соленой паршой степей
Луиный выкормыш — соловей.
Для чего я лучшие годы
Продал за чужие слова?
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

За зубрил ли ты, переводчик,
Арифметику парных строчек?
Каково тебе по песку
Волочить старуху тоску?
Ржа пустыни щепотью соды
Ни жива шипит, ни мертва.
Ах, восточные переводы,
Как болит от вас голова.

МОГИЛА ПОЭТА

Памяти Н. А. Зиболоцкого

I

За мертвым сиротливо и пугливо
Душа тянулась из последних сил,
Но мне была бессмертьем перспектива
В минувшем исчезающих могил.

Листва, трава—все было слишком живо,
Как будто лупу кто-то положил
На этот мир смущенного порыва,
На эту сеть пульсирующих жил.

Вернулся я домой, и вымыл руки,
И лег, закрыв глаза. И в смутном звуке,
Проникшем в комнату из-за окна,

И в сумерках, нависших как
в предгрозье,
Без всякого бессмертья, в грубой прозе
И наготе стояла смерть одна.

II

Венков словых птичьи лапки
В снегу остались от живых.
Твоя могила в белой шапке,
Как царь, проходит мимо них,
Туда, к распахнутым воротам,
Где ты не прах, не человек,
И в облаках за поворотом
Восходит снежный твой ковчег.

Не человек, а череп века,
Его чело, язык и медь.

Заката огненное веко
Не может в небе догореть.

В ДОРОГЕ

Где черный ветер, как налетчик,
Поет на языке блатном,
Проходит путевой обходчик,
Во всей степи один с огнем.

Над полосою отчужденья
Фонарь качается в руке,
Как два крыла из сновиденья
В середине ночи на реке.

И в желтом колыбельном свете
У мирозданья на краю
Я по единственной примете
Родную землю узнаю.

Есть в рельсах железнодорожных
Пророческий и смутный зов
Благословенных, невозможных,
Не спящих ночью городов.

И осторожно, как художник,
Следит проезжий за огнем,
Покуда железнодорожник
Не пропадет в краю степном.

ЗЕМНОЕ

Когда б на роду мне написано было
 Лежать в колыбели богов,
Меня бы небесная мамка вспоила
 Святым молоком облаков,

И стал бы я богом ручья или сада,
 Стерег бы хлеба и гроба,—
Но я человек, мне бессмертья не надо:
 Страшна неземная судьба.

Спасибо, что губ не свела мне улыбка
 Над солью и желчью земной.
Ну что же, прощай, олимпийская
 скрипка,
Не смейся, не пой надо мной.

ИВАНОВА ИВА

Иван до войны проходил у ручья,
Где выросла ива, неведомо чья.

Не знали, зачем на ручей налетла,
А это Иванова ива была.

В своей плащ-палатке, убитый в бою,
Иван возвратился под иву свою.

Иванова ива,
Иванова ива,
Как белая лодка, плывет по ручью.

СУББОТА, 21 ИЮНЯ

Пусть роют щели хоть под воскресенье,
В моих руках надежда на спасенье.

Как я хотел вернуться в до войны,
Предупредить, кого убить должны.

Мне вон тому сказать необходимо:
— Иди сюда, и смерть промчится мимо.

Я знаю час, когда начнут войну,
Кто выживет, и кто умрет в плену,

И кто из нас окажется героем,
И кто расстрелян будет перед строем,

И сам я видел вражеских солдат,
Уже заполонивших Сталинград,

И видел я, как русская пехота
Штурмует Бранденбургские ворота.

Что до врага, то все известно мне,
Как ни одной разведке на войне.

Я говорю — не слушают, не слышат,
Несут цветы, субботним ветром дышат,

Уходят, пропусков не выдают,
В домашний возвращаются уют.

И я уже не помню сам, откуда
Пришел сюда и что случилось чудо.

Я все забыл. В окне еще светло,
И накрест не заклеено стекло.



На черной трубе погорелого дома
Орел отдыхает в безлюдной стене.
Так вот что мне с детства так горько
знакомо:
Видение цезарианского Рима—
Горбатый орел, и ни дома, ни дыма...
А ты, моё сердце, и это стерпи.

БЕЛЫЙ ДЕНЬ

Камень лежит у жасмина.
Под этим камнем клад.
Отец стоит на дорожке.
Белый-белый день.

В цвету серебристый тополь,
Центифолия, а за ней —
Вьющиеся розы,
Молочная трава.

Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.
Никогда я не был
Счастливей, чем тогда.

Вернуться туда невозможно
И рассказать нельзя,
Как был переполнен блаженством
Этот райский сад.

* * *

Вы нашей земли не считаете раем,
А краем пшеничным, чужим караваем,
Штыком вы отрезали лучшую треть.
Мы намертво знаем, за что умираем,—
Мы землю родную у вас отбираем,
А вам — за ворованный хлеб умереть.

ПРОВОДЫ

Вытрет губы, наденет шинель
И не глядя жену поцелует.
А на улице ветер лютует,
Он из сердца повыдует хмель.

И потянется в город обоз,
Не добудешь ста грамм по дороге,
Только ветер бросается в ноги
И глаза обжигает до слез.

Был колхозником — станешь бойцом.
Пусть о родине, вольной и древней,
Мало песен сложили в деревне —
Выйдешь в поле, и дело с концом.

А на выезде плачет жена,
Причитая и руки ломая,
Словно черные кони Мамаю
Где-то близко, как в те времена,
Мчатся, снежную пыль подымая,
Ветер бьет, и звенят стремяна.



Стояла батарея за этим вот холмом,
Нам ничего не слышно, а здесь остался
гром,
Под этим снегом трупы еще лежат вокруг,
И в воздухе морозном остались взмахи рук.
Ни шагу знаки смерти ступить нам не дают.
Сегодня снова, снова убитые встают.
Сейчас они услышат, как снегири поют.

Хорошо мне в теплушке,
Тут бы век вековать,—
Сумка вместо подушки,
И на дождь наплевать.

Мне бы ехать с бойцами,
Грызть бы мне сухари,
Петь да спать бы ночами
От зари до зари,

У вокзалов разбитых
Брать крутой кипяток —
Бездомовный напиток —
В жестяной котелок.

Мне б из этого рая
Никуда не глядеть,
С темнотой засыпая,
Ничего не хотеть —

Ни дороги попятной,
Разоренной войной,
Ни туда, ни обратно,
Ни на фронт, ни домой,—

Но торопит, рыдая,
Песня столько разлук —
Жизнь моя кочевая,
Твой скрежещущий стук.

Ехал из Брянска в теплушке слепой,
Ехал домой со своею судьбой.

Что-то ему говорила опа,
Только и слов — слепота и война.

Мол, хорошо, что незряч да убог,
Был бы ты зряч, уцелеть бы не мог.

Немец не тронул, на что ты ему?
Дай-ка на плечи надену суму,

Ту ли худую, пустую суму,
Дай-ка я веки тебе подыму.

Ехал слепой со своею судьбой,
Даром что слеп, а доволен собой.

НОЧНОЙ ДОЖДЬ

То были капли дождевые,
Летающие из света в тень.
По воле случая впервые
Мы встретились в ненастный день,

И только радуги в тумане
Вокруг неярких фонарей
Поведали тебе заранее
О близости любви моей,

О том, что лето миновало,
Что жизнь тревожна и светла,
И как ты ни жила, но мало,
Так мало на земле жила.

Как слезы, капли дождевые
Светились на лице твоём,
А я еще не знал, какие
Безумства мы переживем.

Я голос твой далекий слышу,
Друг другу нам нельзя помочь,
И дождь всю ночь стучит о крышу,
Как и тогда стучал всю ночь.

Тебе не наскучило каждому снится,
Кто с князем твоим горевал на войне,
О чем же ты плачешь, княгиня зегзица,
О чем ты поешь на кремлевской стене?

Твой Игорь не умер в плену от печали,
Погоне назло доконал он коня,
А как мы рубились на темной Каяле,
Твой князь на Каяле оставил меня.

И впору бы мне тетивой удавиться,
У каменной бабы воды попросить.
О том ли в Путивле кукуешь, зегзица,
Что некому раны мои остудить?

Так долго я спал, что по русские очи
С каленым железом пришла татарва,
А смерть твоего кукованья короче,
От крови моей почернела трава.

Спасибо тебе, что стонала и пела.
Я ветром иду по горячей золе,
А ты разнеси мое смертное тело
На сизом крыле по родимой земле.

ЗЕМЛЯ

За то, что на свете я жил неумело,
За то, что не кривдой служил я тебе,
За то, что имел небессмертное тело,
Я дивной твоей сопричастен судьбе.

К тебе, истомившись, потянутся руки
С такой наболевшей любовью обнять,
Я снова пойду за Великие Луки,
Чтоб снова мне крестные муки принять.

И грязь на дорогах твоих несладима,
И тощая глина твоя солона.
Слезами солдатскими будешь хранима
И вдовьей смертельной скорбью сильна.

Т. О.-Т.

Вечерний, сизокрылый,
Благословенный свет!
Я словно из могилы
Смотрю тебе вослед.

Благодарю за каждый
Глоток воды живой,
В часы последней жажды
Подаренный тобой,

За каждое движенье
Твоих прохладных рук,
За то, что утешенья
Не нахожу вокруг,

За то, что ты надежды
Уводишь, уходя,
И ткань твоей одежды
Из ветра и дождя.

БАБОЧКА В ГОСПИТАЛЬНОМ САДУ

Из тени в свет перелетая
(Она сама и тень и свет),
Где родилась она, такая,
Почти лишенная примет?
Она летает, приседая,
Она, должно быть, из Китая,
Здесь на нее похожих нет,
Она из тех забытых лет,
Где капля малая лазори
Как море синее во взоре.

Она клянется: навсегда! —
Не держит слова никогда,
Она едва до двух считает,
Не понимает ничего,
Из целой азбуки читает
Две гласных буквы —

А

и

О.

А имя бабочки — рисунок,
Нельзя произнести его,
И для чего ей быть в покое?
Она как зеркальце простое.

Пожалуйста, не улетай,
О госпожа моя, в Китай!
Не надо, не ищи Китая,
Из тени в свет перелетая,
Душа, зачем тебе Китай?
О госпожа моя цветная,
Пожалуйста, не улетай!

ЧЕМ ПАХНЕТ СНЕГ

Был первый снег как первый смех
И первые шаги ребенка.
Глядишь — он выровнец, как мех,
На елках, на березах снег, —
Чем не снегуркина шубенка?
И лунки — по одной на всех:
Солонка или не солонка,
Но только завтра, как на грех,
Во всем преобразится снег.

Зима висит на хвойных лапах,
По-праздничному хороша,
Арбузный гоголевский запах —
Ее декабрьская душа.

В бумажных колпаках и шляпах,
Тряпье в чулане вороша,
Усы наводят жженой пробкой,
Румянец — свеклой; кто в очках,
Кто скалку схватит впопыхах
И — в двери, с полною коробкой
Огня бенгальского в руках.

Факир, вампир, гусар с цыганкой,
Коза в тулупе вверх изнанкой,
С пеньковой бородой монах
Гурьбой закладывают сани,

Под хохот бьется бубенец,
От ряженных воспоминаний
Зима устанет наконец.

И — никого, и столбик ртути
На милость стужи сдастся днем,
В малиновой и дымной смуте
И мы пойдем своим путем,
Почуем запах госпитальный
Сплошного снежного пласта,
Дыханье ступит, как хрустальный
Морозный ангел, на уста.

И только в марте потеплеет,
И, как на карте, заестрест,
Там косогор, там буерак,
А там лозняк, а там овраг.

Сойдешь с дороги — вязнут ноги,
Передохни, когда не в спех,
Постой немного при дороге:
Весной бензином пахнет снег.

Бензином пахнет снег у всех,
В любом краю, но в Подмосковье
Особенно, и пахнет кровью.
Остался этот запах с тех
Времен, когда сороковые
По снегу в гору свой доспех
Тащили годы чуть живые...

Уходят души снеговые,
И остается вместо вех
Бензиц, которым пахнет снег.

ПОСЛЕ ВОЙНЫ

1

Как дерево поверх лесной травы
Распластывает листьев пятерню
И, опираясь о кустарник, вкось
И вширь и вверх распространяет ветви,
Я вытянулся понемногу. Мышцы
Набухли у меня, и раздалась
Грудная клетка. Легкие мои
Наполнил до мельчайших альвеол
Колючий спирт из голубого кубка,
И сердце взяло кровь из жил, и жилам
Вернуло кровь, и снова взяло кровь,
И было это как преображенье
Простого счастья и простого горя
В прелюдию и фугу для органа.

2

Меня хватило бы на все живое —
И на растения, и на людей,
В то время умиравших где-то рядом
И где-то на другом краю земли
В страданиях немислимых, как Марсий,
С которого содрали кожу. Я бы

Ничуть не стал, отдав им жизнь, бедней
Ни жизнью, ни самим собой, ни кровью,
Но сам я стал как Марсий. Долго жил
Среди живых, и сам я стал как Марсий.

3

Бывает, в летнюю жару лежишь
И смотришь в небо, и горячий воздух
Качается, как люлька, над тобой,
И вдруг находишь странный угол
чувств:
Есть в этой люльке щель, и сквозь нее
Проходит холод запредельный, будто
Какая-то иголка ледяная...

4

Как дерево с подмытого обрыва,
Разбрызгивая землю над собой,
Обрушивается корнями вверх,
И быстрина перебирает ветви,
Так мой двойник по быстрине иной
Из будущего в прошлое уходит.
Вослед себе я с высоты смотрю
И за сердце хватаюсь.

Кто мне дал
Трепещущие ветви, мощный ствол
И слабые, беспомощные корни?
Тлетворна смерть, но жизнь еще
тлетворней,
И необуздан жизни произвол.
Уходишь, Лазарь? Что же, уходи!

Еще горит полнеба за спиною.
Нет больше связи меж тобой и мною.
Спи, жизнелюбец! Руки на груди
Сложи и спи!

5

Приди, возьми, мне ничего не надо,
Люблю — отдам и не люблю — отдам.
Я заменить хочу тебя, но если
Я говорю, что перейду в тебя,
Не верь мне, бедное дитя, я лгу...

О, эти руки с пальцами
как лозы,
Открытые и влажные глаза,
И раковины маленьких ушей,
Как блюдца, полные любовной
песни,
И крылья, ветром выгнутые
круто...

Не верь мне, бедное дитя, я лгу,
Я буду порываться, как казнимый,
Но не могу я через отчужденье
Переступить, и не могу твоим
Крылом плеснуть, и не могу мизинцем
Твоим коснуться глаз твоих, глазами
Твоими посмотреть.

Ты во сто крат
Сильней меня, ты — песня о себе,
А я — наместник дерева и неба
И осужден твоим судом за песню.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Еще в скорлупе мы висим на хвощах
Мы — ранняя проба природы,
У нас еще кровь не красна, и в хрящах
Шумят силурийские воды,

Еще мы в пещере костра не зажгли
И мамонтов не рисовали,
Ни белого неба, ни черной земли
Богами еще не назвали,

А мы уже в горле у мира стоим
И бомбою мстим водородной
Еще не рожденным потомкам своим
За собственный грех первородный.

Ну что ж, златоверхие башни смахнем,
Развеем число Галилея
И Моцарта флейту продуем огнем,
От первого тлена хмелея.

Нам снится немая, как камень, земля
И небо, нагос без птицы,
И море без рыбы и без корабля,
Сухие, пустые глазницы.

ЗУММЕР

Я бессмертен, пока я не умер,
И для тех, кто еще не рожден,
Разрываю пространство, как зуммер
Телефона грядущих времен.

Так последний связист под обстрелом,
От большого пути в стороне,
Прикрывает расстрелянным телом
Ящик свой на солдатском ремне.

На снегу в затвердевшей шинели,
Кулаки к подбородку прижав,
Он лежит, как дитя в колыбели,
Правотой несравненною прав.

Где когда-то с боями прошли мы
От большого пути в стороне,
Разбегается неповторимый
Терпкий звук на широкой волне.

Это старая честь боевая
Говорит:

— Я земля. Я земля,—
Под землей провода расправляя
И корнями овсов шевеля.

III

* * *

Снова я на чужом языке
Пересуды какие-то слышу,—
То ли это плоты на реке,
То ли падают листья на крышу.

Осень, видно, и впрямь хороша.
То ли это она колобродит,
То ли злая живая душа
Разговоры с собою заводит,

То ли сам я к себе не привык..
Плыть бы мне до чужих понизовий,
Петь бы мне, как поет плотовщик,—
Побольней, потемней, победовой,

На плоту натянуть дождевик,
Петь бы, шапку надвинув на брови,
Как поет на реке плотовщик
О своей невозвратной любви.

ТИТАНИЯ

Прямых стволов благословение
И млечный пар над головой,
И я ложусь в листву осеннюю,
Дышу подспудицей грибной.

Мне грешная моя, невинная
Земля моя передает
Свое терпенье муравьиное
И душу крепкую, как йод.

Кончатся мои скитания.
Я в лабиринт корней войду
И твой престол найду, Титания,
В твоей державе пропаду.

Что мне в моем погибшем имени?
Твой ржавый лист — моя броня,
Кляни меня, но не гони меня,
Убей, но не гони меня.

* * *

Сирени вы, сирени,
И как вам не тяжел
Застывший в трудном крене
Альтовый гомон пчел?

Осталось петерпенье
От юности моей
В горячей вашей пене
И в глубине теней.

А как дохнет по пчелам
И прибежит гроза
И ситцевым подолом
Ударит мне в глаза —

Пойдет прохлада низом
Траву в коленях гнуть,
И дождь по гроздьям сизым
Покатится, как ртуть.

Под вечер — вёдро снова,
И, верно, в том и суть,
Чтоб хоть силком смычковый
Лиловый гуд вернуть.



Жизнь меня к похоронам
Приучила понемногу.
Соблюдаем, слава богу,
Очередность по годам.

Но ровесница моя,
Спутница моя бывшая,
Отошла, не соблюдая
Зыбких правил бытия.

Несколько никчемных роз
Я принес на отпеванье,
Ложное воспоминанье
Вместе с розами принес.

Будто мы невесть куда
Едем с нею на трамвае,
И нисходит дождевая
Радуга на провода.

И при желтых фонарях
В семицветном оперенье
Слезы счастья на мгновенье
Загорятся на глазах,

И щека еще влажна,
И рука еще прохладна,
И она еще так жадно
В жизнь и счастье влюблена.

В морге млечный свет лежит
На серебряном глазете,
И за эту смерть в ответе
Совесьть плачет и дрожит,

Тщетно слясь хоть чуть-чуть
Сдвинуть маску восковую
И огласку роковую
Жгучей солью захлестнуть.



Мне в черный день приснится
Высокая звезда,
Глубокая криница,
Студеная вода
И крестики сирени
В росе у самых глаз.
Но больше нет ступени —
И тени спрячут нас.

И если вышли двое
На волю из тюрьмы,
То это мы с тобою,
Одни на свете мы,
И мы уже не дети,
И разве я не прав,
Когда всего на свете
Светлее твой рукав.

Что с нами ни случится,
В мой самый черный день.
Мне в черный день приснится
Криница и сирень,
И тонкое колечко,
И твой простой наряд,

И на мосту за речкой
Колеса простучат.

На свете все проходит,
И даже эта ночь
Проходит и уводит
Тебя из сада прочь.
И разве в нашей власти
Вернуть свою зарю?
На собственное счастье
Я как слепой смотрю.

Стучат. Кто там? — Мария. —
Отворишь дверь: — Кто там? —
Ответа нет. Живые
Не так приходят к нам,
Их поступь тяжелее,
И руки у живых
Грубее и теплее
Незримых рук твоих.

— Где ты была? — Ответа
Не слышу на вопрос.
Быть может, сон мой — это
Невнятный стук колес
Там, на мосту, за речкой,
Где светится звезда,
И кануло колечко
В кринуцу навсегда.

ЗАТМЕНИЕ СОЛНЦА. 1914

В то лето народное горе
Надело железную цепь,
И тлела по самое море
Сухая и пыльная степь,

И пóд вечер горькие дали,
Как душная бабья душа,
Багровой тревогой дышали
И бога хулили, греша.

А утром в село, на задворки,
Пришел дезертир босиком,
В белесой своей гимнастерке,
С голодным и темным лицом,

И, словно из церкви икона,
Смотрел он, как шел на ущерб
По ржавому дну небосклона
Алмазный сверкающий серп.

Запомнил я взгляд без движенья,
Совсем из державы иной,
И понял печать отчужденья
В глазах, обожженных войной.

И стало темно. И в молчанье,
Зеленом, глубоком как сон,
Ушел он, и мне на прощанье
Оставил ружейный патрон.

Но сразу, по первой примете,
Узнать ослепительный свет...

.

Как много я прожил на свете!
Столетие! Тысячу лет!

ЕЛЕНА МОЛОХОВЕЦ

...после чего отжимки можно
отдать на кухню людям.

*Е. Молоховец. «Подарок
молодым хозяйкам». 1911*

Ты где, писательница малосольная,
Молоховец, холуйка малохольная,
Блаженство десятипудовых туш
Владетелей десяти тысяч душ?
В каком раю? чистилище? мучилище?
Костедробилище? А где твои лещи
Со спаржей в зеве? раки бордолез?
Омары Крез? имперский майонез?
Кому ты с институтскими ужимками
Советуешь стерляжьими отжимками
Парадный опзрачивать бульон,
Чтоб золотым он стал, как миллион,
Отжимки слугам скармливать, чтоб
ведали,
Чем нынче наниматели обедали?

Вот ты сидишь под ледяной скалой,
Перед тобою ледяной налой,
Ты вслух читаешь свой завет
поваренный,

Тобой хозяйкам молодым подаренный,
И червь насытый у тебя в руке,
В другой — твой череп мямлит в
дуршлагае.

Ночная тень, холодная, голодная,
Полубайстрючка, полублагородная...

Что дали ему Византии орлы золотые
И чем одарил его царский штандарт над
Парад перед Зимним, Кшесинская, Ленский
Россией, расстрел?
Что слышал — то слушал, что слушал —
понять не успел.

Гунявый, слюнявый, трясет своей вшивой
рогожей,
И хлебную корочку гложет на белку похоже,
И красногвардейцу все тычется плешью в
сапог.
А тот говорит:
— Не трясись, ешь спокойно, браток!



Мы шли босые, злые,
И, как под снег ракита,
Ложилась мать Россия
Под конские копыта.

Стояли мы у стенки,
Где холодом тянуло,
Выкатывая зенки,
Смотрели прямо в дуло.

Кто знает щучье слово,
Чтоб из земли солдата
Не подымали снова,
Убитого когда-то?

СТИХИ ИЗ ДЕТСКОЙ ТЕТРАДИ

...О, мать Ахайя гористая,
Пробудись, я твой лучник последний...

Из тетради 1921 г.

Почему захотелось мне снова,
Как в далекие детские годы,
Ради шутки не тратить ни слова,
Сочинять величавые оды,

Штурмовать олимпийские кручи,
Нимф искать по лазурным пещерам
И гекзаметр без всяких созвучий
Предпочесть новомодным размерам?

Географию древнего мира
На четверку я помню, как в детстве,
И могла бы Алкеева лира
У меня оказаться в наследстве.

Надо мной не смеялись матросы.
Я читал им:

«О, мать Ахайя!»

Мне дарили они папирсы,
По какой-то Ахайе вздыхая.

За гекзаметр в холодном вокзале,
Где жила молодая свобода,
Мне с винтовками люди давали
Черный хлеб двадцать первого года.

Значит, шел я по верной дороге,
По кремнистой дороге поэта,
И неправда, что Пан козлоногий
До меня еще сгинул со света.

Босиком, но в буденновском шлеме,
Бедный мальчик в священном дурмане,
Верен той же аттической теме,
Я блуждал без копейки в кармане.

Ямб затасканный, рифма плохая,—
Только бредни, постылые бредни,
И достойней:

«О, мать Ахайя,
Пробудись, я твой лучник последний...»

Кухарка жирная у скарред
На сковородке мясо жарит,
И приправляет чесноком,
Шафраном, уксусом и перцем,
И побирушку за окном
Костит и проклиняет с сердцем.

А я бы тоже съел кусок,
Погрыз бараний позвонок
И, как хозяин, кружку пива
Хватил и завалился спать:
Кляпите, мол, судите криво,
Голодных сытым не понять.

У, как я голодал мальчишкой!
Тетрадь стихов таскал под мышкой,
Баранку на два дня делил:
Положишь на зубок ошибкой...
И стал жильем певучих сил,
Какой-то невесомой скрипкой.

Сквозил я, как рыбацья сеть,
И над землею мог висеть.
Осенний дождь, двойник мой серый,

Долдонил в уши свой рассказ,
В облаву милиционеры
Ходили сквозь меня не раз.

А фонари в цветных размывах
В тех переулках шелудивых,
Где летом шагу не ступить,
Чтобы влюбленных в подворотне
Не всполошить!.. Я, может быть,
Воров московских был бесплотней,

Я в спальни тенью пропикал,
Летал, как пух из одеял,
И молодости клясть не буду
За росчерк звезд над головой,
За глупое пристрастье к чуду
И за карман дырявый свой.

ВЕЩИ

Все меньше тех вещей, среди которых
Я в детстве жил, на свете остается.
Где лампы-«молнии»? Где черный порох?
Где черная вода со дна колодца?

Где «Остров мертвых» в декадентской
раме?

Где плюшевые красные диваны?
Где фотографии мужчин с усами?
Где тростниковые аэропланы?

Где Надсона чахоточный трехдольник,
Визитки на красавцах адвокатов,
Пахучие калоши «Треугольник»
И страусова нега плеч покатых?

Где кудри символистов полупьяных?
Где рослых футуристов затрапезы?
Где лозунги на липах и каштанах,
Бандитов сумасшедшие обрезы?

Где твердый знак и буква «ять» с
«фитою»?

Одно ушло, другое изменилось,
И что не отделялось запятою,
То запятой и смертью отделилось.

Я сделал для грядущего так мало,
Но только по грядущему тоскую
И не желаю начинать сначала:
Быть может, я работал не впустую.

А где у новых спутников порука,
Что мне принадлежат они по праву?
Я посягаю на игрушки внука,
Хлеб правнука, праправнукову славу.

ФОТОГРАФИЯ

О. М. Грудцовой

В сердце дунет ветер тонкий,
И летишь, летишь стремглав,
А любовь на фотопленке
Душу держит за рукав,

У забвения, как птица,
По зерну крадет — и что ж?
Не пускает распылиться,
Хоть и умер, а живешь —

Не всю, а в сотой доле,
Под сурдинку и во сне,
Словно бродишь где-то в поле
В запредельной стороне.

Все, что мило, зримо, живо,
Повторяет свой полет,
Если ангел объектива
Под крыло твой мир берет.

ГРЕЧЕСКАЯ КОФЕЙНЯ

Где белый камень в диком блеске
Глощает синьку вод морских,
Грек Ламбринуди в красной феске
Ждал посетителей своих.

Они развешивали сети,
Распутывали поплавки
И, улыбаясь точно дети,
Натягивали пиджаки.

— Входите, дорогие гости,
Сегодня кофе как вино! —
И долго в греческой кофейне
Гремели кости
Домино.

А чашки разносила Зоя,
И что-то пезжное и злое
Скрывала медленная речь,
Как будто море кружевное
Спадало с этих узких плеч.

На длинных нерусских ногах
Стоит, улыбаясь некстати,
А шерсть у него на боках
Как вата в столетнем халате.

Должно быть, молясь на восток,
Кочевники перемудрили,
В подшерсток втирали песок
И ржавой колючкой кормили.

Горбатую царскую плоть,
Престол нищеты и терпенья,
Нещедрый пустынный-господь
Слепил из отходов творенья.

И в ноздри вложили замок,
А в душу — печаль и величье,
И верно, с тех пор погромок
На шее болтается птичьей.

По Черным и Красным пескам,
По дикому звою бродяжил,
К чужим пристрастился тюкам,
Копейки под старость не нажил.

Привыкла верблюжья душа
К пустыне, тюкам и побоям.
А все-таки жизнь хороша,
И мы в пей чего-нибудь стоим.

МОТЫЛЕК

Ходит мотылек
По ступеням света,
Будто кто зажег
Мельтешенье это.

Книжечку чудес
На лугу открыли,
Порошком небес
Подсинили крылья.

В чистом пузырьке
Кровь другого мира
Светится в брюшке
Мотылька-лепидера.

Я бы мысль вложил
В эту плоть, но трогать
Мы не смеем жил
Фараона с ноготь.

ПОСРЕДИНЕ МИРА

Я человек, я посредине мира,
За мною мириады инфузорий,
Передо мною мириады звезд.
Я между ними лег во весь свой рост —
Два берега связующее море,
Два космоса соединивший мост.

Я Нестор, летописец мезозоя,
Времен грядущих я Иеремия.
Держа в руках часы и календарь,
Я в будущее втянут, как Россия,
И прошлое клянусь, как нищий царь.

Я больше мертвецов о смерти знаю,
Я из живого самое живое.
И — боже мой! — какой-то мотылек,
Как девочка, смеется надо мною,
Как золотого шелка лоскуток.

МАЛЮТКА ЖИЗНЬ

Я жизнь люблю и умереть боюсь.
Взглянули бы, как я под током бьюсь
И гнусь, как язь в руках у рыболова,
Когда я перевоплощаюсь в слово.

Но я не рыба и не рыболов.
И я из обитателей углов,
Похожий на Раскольниковца с виду.
Как скрипку, я держу свою обиду.

Терзай меня — не изменюсь в лице.
Жизнь хороша, особенно в конце,
Хоть под дождем и без гроша в кармане,
Хоть в Судный день — с иглой
в гортани.

А! этот сон! Малютка жизнь, дыши,
Возьми мои последние гроши,
Не отпускай меня вниз головою
В пространство мировое, шаровое!

ГОЛУБИ

Семь голубей — семь дней недели
Склевали корм и улетели,
На смену этим голубям
Другие прилетают к нам.

Живем, считаем по семерке,
В последней стае только пять,
И наши старые задворки
На небо жалко променять:

Тут наши сизари воркуют,
По кругу ходят и жалкуют,
Асфальт крупитчатый клюют
И на поминках дождик пьют.

ДЕРЕВЬЯ

I

Чем глуше крови страстный ропот
И верный кров тебе нужней,
Тем больше ценишь трезвый опыт
Спокойной зрелости своей.

Оплакав молодые годы,
Молочный брат листвы и трав,
Глядишься в зеркало природы,
В ее лице свое узнав.

И собеседник и ровесник
Деревьев полувековых,
Ищи себя не в ранних песнях,
А в росте и упорстве их.

Им тяжело собственное бремя,
Но с каждой новою весной
В их жесткой сердцевине время
За слоem отлагает слой.

И крепнет их живая сила,
Двоятся ветви их, деля
Тот груз, которым одарила
Своих питомцев мать земля.

О чем скорбя, в разгаре мая
Вдоль исполинского ствола
На крону смотришь, понимая,
Что мысль взамену чувств пришла?

О том ли, что в твоих созвучьях
Отвердевает кровь твоя,
Как в терпеливых этих сучьях
Луч солнца и вода ручья?

II

Державы птичьей нищеты,
Ветров зеленые кочевья,
Ветвями ищут высоты
Слепорожденные деревья.

Зато, как воины стройны,
Очеловеченные нами,
Стоят, и соединены
Земля и небо их стволами.

С их плеч, когда зима придет,
Слетит убранство золотое:
Пусть отдохнет лесной народ,
Накопит силы на покое.

А листья — пусть лежат они
Под снегом, ржавчина природы.
Сквозь щели сломанной брони
Живительные брызнут воды,

И двинется весенний сок,
И сквозь кору из черной раны
Побега молодого рог
Проглянет, нежный и багряный.

И вот уже в сквозной листве
Стоят округ земли прогретой
И света ищут в синеве
Еще, быть может, до рассвета.

— Как будто горцы к нам приплыли
С оружием своим старинным
На праздник матери земли
И станом стали по низинам.

Созвучья струн волосяных
Налетом птичьим зазвучали,
И пляски ждут подруги их,
Держа в точеных пальцах шали.

Людская плоть в родстве с листвою,
И мы чем выше, тем упорней:
Древесные и наши корни
Живут порукой круговой.

ДОМ НАПРОТИВ

Ломали старый деревянный дом.
Уехали жильцы со всем добром —

С диванами, кастрюлями, цветами,
Косыми зеркалами и котами.

Старик взглянул на дом с грузовика,
И время подхватило старика,

И все осталось навсегда как было.
Но обнажились между тем стропила,

Забрезжила в проемах без стекла
Сухая пыль, и выступила мгла.

Остались в доме сны, воспоминанья,
Забывшие надежды и желанья.

Сруб разобрали, бревна увезли.
Но ни на шаг от милой им земли

Не отходили призраки бывшего
И про рябину песню пели снова.

На свадьбах пили белое вино,
Ходили на работу и в кино,

Гробы на полотенцах выносили,
И друг у друга денег в долг просили,

И спали парами в пуховиках,
И первенцев держали на руках,

Пока железная десна машины
Не выгрызла их шелудивой глины,

Пока над ними кран, как буква Г,
Не повернулся на одной ноге.

РАННЯЯ ВЕСНА

С протяжным шорохом под мост уходит
крига —
Зимы-гадальщицы захватанная книга,
Вся в птичьих литерах, в сосновой чешуе.
Читать себя велит одной, другой струе.

Эй, в черном ситчике, неряха городская,
Ну, здравствуй, мать весна! Ты вон теперь
какая:
Расселась — ноги вниз — на Каменном мосту
И первых ласточек бросает в пустоту.

Девчонки-писанки с короткими носами,
Как на экваторе, толкутся под часами
В древнеегипетских ребристых башмаках,
С цветами желтыми в русалочьих руках.

Как не спешить туда взволнованным
студентам,
Французам в дудочках, с владимирским
акцентом,
Рабочим молодым, жрецам различных муз
И ловким служащим, бежавшим брачных уз?

По дворник с номером косится исподлобья,
Пока троллейбусы проходят, как надгробья,
И я бегу в метро, где, у Москвы в плену,
Огромный базилиск залег во всю длину.

Там нет ни времени, ни смерти, ни апреля,
Там дышит ровное забвение без хмеля,
И ровное тепло подземных городов,
И ровный узкий свист летучих поездов.

* * *

Над черно-сизой ямою
И жухлым снегом в яме
Заплакала душа моя
Прощальными слезами.

Со скрежетом подъемные
Ворочаются краны
И сыплют шлак в огромные
Расхристанные раны,

Губастые бульдозеры,
Дрожа по-человечьи,
Асфальтовое озеро
Гребут себе под плечи.

Безбровая, безбольная,
Еще в родильной глине,
Встает прямоугольная
Бетонная богиня.

Здесь будет сад с эстрадами
Для скрипок и кларнетов,
Цветной бассейн с наядами
И музы для поэтов.

А ты, душа-чердачница,
О чем затосковала?
Тебе ли, неудачница,
Твоей удачи мало?

Прощай, житье московское,
Где ты любить училась,
Петровско-Разумовское,
Прощайте, ваша милость!

Истцы, купцы, повытчики,
И что в вас было б толку,
Когда б не снег на ситчике,
Накинутом на челку.

Эх, маков цвет, мещанское
Житьишко за заставой!
Я по линейке странствую,
И правый и неправый.

Кто, еще прозрачный школьник,
Учит Музу чепухе
И торчит, как треугольник,
На шатучем лопухе?

Головастый внук Хирона,
Полувсадник-полуконь,
Кто из рук Анакреона
Вынул скачущий огонь?

Кто, Державину докука,
Хлебникову брат и друг,
Взял из храма ультразвука
Золотой зубчатый лук?

Кто, коленчатый, зеленый
Царь, циркач или божок,
Для меня сберег каленый,
Норовистый их смычок?

Кто стрекочет, и пророчит,
И антеннами усов
Пятки времени щекочет,
Как пружинками часов?

Мой кузнечик, мой кузнечик,
Герб державы луговой!
Он и мне протянет глечик
С ионийскою водой.

НА БЕРЕГУ

Он у реки сидел на камыше,
Накошенном крестьянами на крыши,
И тихо было там, а на душе
Еще того спокойнее и тише.
И сапоги он скинул. И когда
Он в воду ноги опустил, вода
Заговорила с ним, не понимая,
Что он не знает языка ее.
Он думал, что вода — глухонемая
И бессловесно сонных рыб жилье,
Что реют над водою коромысла
И ловят комаров или слепней,
Что хочешь мыться — мойся, хочешь —
пей
И что в воде другого нету смысла.

И вправду чуден был язык воды,
Рассказ какой-то про одно и то же,
На свет звезды, на беглый блеск слюды,
На предсказание беды похожий.
И что-то было в нем от детских лет,
От непривычки мерить жизнь годами
И от того, чему названья нет,

Что по ночам приходит перед снами,
От грозного, как ранние года,
Растительного самоощущенья.

Вот какова была в тот день вода
И речь ее без смысла и значенья.

У ЛЕСНИКА

В лесу потерял я ружье,
Кусты разрывая плечами;
Глаза мне ночное зверье
Слепило своими свечами.

Лесник меня прячет в избе,
Сижусь я за кружкой чая,
И кажется мне, что к себе
Попал я, по лесу блуждая.

Открыла мне память моя
Таинственный мир соответствий:
И кружка, и стол, и скамья
Такие же точно, как в детстве.

Такие же двери у нас
И стены такие же были.
А он продолжает рассказ,
Свои стародавние были.

Цигарку свернет и в окно
Моими посмотрит глазами.
— Пускай их свистят. Все равно
У нас тут балуют ночами.

ОДА

Мало мне воздуха, мало мне хлеба,
Льды, как сорочку, сорвать бы мне с
плеч,
В горло вобратъ бы лучистое небо,
Между двумя океанами лечь,
Под ноги лечь у тебя на дороге
Звездной песчинкою в звездный песок,
Чтоб над тобою крылатые боги
Перелетали с цветка на цветок.

Ты бы могла появиться и раньше
И приоткрыть мне твою высоту,
Раньше могли бы твои великанши
Книгу твою развернуть на лету,
Раньше могла бы ты новое имя
Мне подобрать на своем языке,—
Вспыхнуть бы мне под стопами твоими
И навсегда затеряться в песке.

РУКОПИСЬ

А. А. Ахматовой

Я кончил книгу и поставил точку
И рукопись перечитать не мог.
Судьба моя сторела между строк,
Пока душа меняла оболочку.

Так блудный сын срывает с плеч
сорочку,
Так соль морей и пыль земных дорог
Благословляет и клянет пророк,
На ангелов ходивший в одиночку.

Я тот, кто жил во времена мои,
Но не был мной. Я младший из семьи
Людей и птиц, я пел со всеми вместе

И не покину пиршества живых —
Прямой гербовник их семейной чести,
Прямой словарь их связей корневых.

Земле —

земное

1941 · 1966

3

СЛОВАРЬ

Я ветвь меньшая от ствола России,
 Я плоть ее, и до листвы моей
 Доходят жилы влажные, стальные,
 Льняные, кровяные, костяные,
 Прямые продолжения корней.

Есть высоты властительная тяга,
 И потому бессмертен я, пока
 Течет по жилам — боль моя и благо —
 Ключей подземных ледяная влага,
 Все эР и эЛЬ святого языка.

Я призван к жизни кровью всех
рожденных
 И всех смертей, я жил во времена,
 Когда народа безымянный гений
 Немую плоть предметов и явлений
 Одушевлял, даруя имена.

Его словарь открыт во всю страницу,
 От облаков до глубины земной.
 — Разумной речи научить синицу
 И лист единый заронить в креницу,
 Зеленый, рдяный, ржавый, золотой...

ДО СТИХОВ

Когда, еще спросонок, тело
Мне душу жгло и предо мной
Огнем вперед судьба летела
Неопалимой купиной,—

Свистели флейты ниоткуда,
Кричали у меня в ушах
Фанфары, и земного чуда
Ходила сетка на смычках,

И в каждом цвете, в каждом тоне
Из тысяч радуг и ладов
Окрестный мир стоял в короне
Своих морей и городов.

И странно: от всего живого
Я принял только свет и звук,—
Еще грядущее ни слова
Не заронило в этот круг...

Не высоко я ставлю силу эту:
 И зяблики поют. Но почему
 С рифмовником бродить по белу свету
 Наперекор стихиям и уму
 Так хочется и в смертный час посту?

И как ребенок «мама» говорит,
 И мечется, и требует покрова,
 Так и душа в мешок своих обид
 Швыряет, как плотву, живое слово:
 За жабры — хватать! и рифмами двоят.

Сказать по правде, мы уста пространства
 И времени, но прячется в стихах
 Кошечкой считалки постоянство,
 Всему свой срок: живет в пещере страх,
 В созвучье — допотопное шаманство,

И, может быть, семь тысяч лет пройдет,
 Пока поэт, как жрец, благоговейно,
 Коперника в стихах перепоеет,
 А там, глядишь, дойдет и до Эйнштейна.
 И я умру, и тот поэт умрет,

Но в смертный час попросит
вдохновенья,
 Чтобы успеть стихи досочинить:
 — Еще одно дыханье и мгновенье
 Дай эту пить связать и раздвоить!
 Ты помнишь рифмы влажное биенье?

ПОЭТЫ

Мы звезды меняем на птичьи кларпеты
И флейты, пока еще живы поэты,
И флейты — на синие щетки цветов,
Трещотки стрекоз и кнуты пастухов.

Как странно подумать, что мы променяли
На рифмы, в которых так много печали,
На голос, в котором и присвист и жесть,
Свою корневую, подземную честь.

А вы нас любили, а вы нас хвалили,
Так что ж вы лежите могила к могиле
И молча плывете, в ладьях накреньясь,
Косарь, и псалтырщик, и плотничий
князь?

СТИХИ В ТЕТРАДЯХ

Мало ли на свете
Мне давно чужого,—
Не пред всем в ответе
Музыка и слово.

А напев случайный,
А стихи — на что мне?
Жить без глупой тайны
Легче и бездомней.

И какая малость
От нее осталась,—
Разве только жалость,
Чтобы сердце сжалось,

Да еще привычка
Говорить с собою,
Спор да перекличка
Памяти с судьбою...

ЭСХИЛ

В обнимку с молодостью, второпях,
Чурался я отцовского наследия
И не приметил, как в моих стихах
Свила гнездо Эсхилова трагедия.

Почти касаясь клюва и когтей,
Обманутый тысячелетней сказкою,
С огнем и я играл, как Прометей,
Пока не рухнул на гору кавказскую.

Гонца богов, мальчишку, холуя,
На крылышках снующего над сценою,
— Смотри,— молю,— вот кровь и кость
Иди, возьми, что хочешь, хоть вселенную!
моя,

Никто из хора не спасет меня,
Не крикнет:

«Смилуйся или добей его!»

И каждый стих, звучащий дольше дня,
Живет все той же казнью Прометеевой.

КАМЕНЬ НА ПУТИ

Пророческая власть поэта
Бессильна там, где в свой рассказ
По странной прихоти сюжета
Судьба живьем вгоняет нас.

Вначале мы предполагаем
Какой-то взгляд со стороны
На то, что адом или раем
Считать для ясности должны,

Потом, кончая со стихами,
В последних четырех строках
Мы у себя в застенке сами
Себя свежем в второпях.

Откуда наша власть? Откуда
Все тот же камень на пути?
Иль новый бог, творящий чудо,
Не может сам себя спасти?

ПОЭТ

Жил на свете рыцарь бедный...

Эту книгу мне когда-то
В коридоре Госиздата
Подарил один поэт;
Книга порвана, измята,
И в живых поэта нет.

Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.

Как боялся он пространства
Коридоров! постоянства
Кредиторов! Он, как дар,
В диком приступе жеманства
Принимал свой гонорар.

Так елозит по экрану
С реверансами, как спьяну,
Старый клоун в котелке
И, как трезвый, прячет рану
Под жилеткой из пике.

Оперенный рифмой парной,
Кончен подвиг календарный,—
Добрый путь тебе, прощай!
Здравствуй, праздник гонорарный,
Черный белый каравай!

Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Так и надо жить поэту.
Я и сам сную по свету,
Одиночества боюсь,
В сотый раз за книгу эту
В одиночестве берусь.

Там в стихах пейзажей мало,
Только бестолочь вокзала
И театра кутерьма,
Только люди как попало,
Рынок, очередь, тюрьма.

Жизнь, должно быть, наболтала,
Наплела судьба сама.

СТИРКА БЕЛЬЯ

Марина стирает белье.
В гордыне шипучую пену
Рабочие руки ее
Швыряют на голую стену.

Белье выжимает. Окно —
На улицу настезь, и платье
Развешивает.

Все равно,
Пусть видят и это распятье.

Гудит самолет за окном,
По тазу расходится пена,
Впервой надрывается днем
Воздушной тревоги сирена.

От серого платья в окне
Темнеют четыре аршина
До двери.

Как в речке на дне —
В зеленых потемках Марина.

Два месяца ровно со лба
Отбрасывать пряди упрямо,
А дальше хозяйка — судьба,
И переупрямит пад Камой...

КАК ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА ТОМУ НАЗАД

И что ни человек, то смерть, и что ни
Былинка, то в огонь и под каблук,
Но мне и в этом скрежете и стоне
Другая смерть слышнее всех разлук.

Зачем— стрела — я не сгорел на лопе
Пожарища? Зачем свой полукруг
Не завершил? Зачем я на ладони
Жизнь, как стрижа, держу? Где лучший
друг,

Где божество мое, где ангел гнева
И праведности? Справа кровь и слева
Кровь. Но твоя, бескровная, стократ
Смертельней.

Я отброшен тетивою
Войны, и глаз твоих я не закрою.
И чем я виноват, чем виноват?

ЧЕРЕЗ ДВАДЦАТЬ ДВА ГОДА

Не речи,—

нет, я не хочу
Твоих сокровищ — клятв и плачей,—
Пера я не переучу
И горла не переиначу,—

Не смелостью пред смертью,—

ты

Все замыслы доисплотила
В свои тетради до черты,
Где кончились твои чернила,—

Не первородству,—

я отдам

Свое, чтобы тебе по праву
На лишний день вручили там,
В земле,— твою земную славу,—

Не дерзости твоих страстей

И не тому, что все едино,

А только памяти твоей

Из гроба научи, Марина!

Как я боюсь тебя забыть
И промелькать в одно мгновенье
Прямую фосфорную нить
На удвоенье, утроенье
Рифм —
 и в твоём стихотворенье
Тебя опять похоронить.

Ничего душа не хочет
И не открывая глаз,
В небо смотрит и бормочет,
Как безумный Комитас.

Медленно идут светила
По спирали в вышине,
Будто их заговорила
Сила, спящая во мне.

Вся в крови моя рубаха,
Потому что и меня
Обдувает ветром страха
Стародавняя резня.

И опять Айя-Софии
Камень ходит предо мной
И земля ступни босые
Обжигает мне золой.

Лазарь вышел из гробницы,
А ему и дела нет,
Что летит в его глазницы
Белый яблоневый цвет.

До утра в гортани воздух
Шелушится, как слюда,
И стоит в багровых звездах
Кривда Страшного суда.

СТЕПНАЯ ДУДКА

I

Жили, воевали, голодали,
Умирала врозь, по одному.
Я не живописец, мне детали
Ни к чему, я лучше соль возьму.

Из всего земного ширпотреба
Только дудку мне и принесли:
Мало взял я у земли для неба,
Больше взял у неба для земли.

Я из шапки вытряхнул светила,
Выпустил я птиц из рукава.
Обо мне земля давно забыла,
Хоть моим рифмовником жива.

II

На каждый звук есть эхо на земле.
У пастухов кипел кулеш в котле,
Почесывались овцы рядом с нами
И черными стучали башмачками.

Что деньги мне? Что мне почет и честь
В степи вечерней без конца и края?
С Овидием хочу я брынзу есть
И горевать на берегу Дуная,
Не различать далеких голосов,
Не ждать благословенных парусов.

III

Где вьюгу на латынь
Переводил Овидий,
Я пил степную синь
И суп варил из мидий.

И мне огнем беды
Дуду насквозь продуло,
И потому лады
Поют, как Мариула,

И потому семья
У нас не без уroda
И хороша моя
Дунайская свобода.

Где грел он в холода
Ленешку на ладони,
Там южная звезда
Стоит на небосклоне.

IV

Земля неплодородная, степная,
Горючая, но в ней для сердца есть
Кузнечика скрипица костяная
И кесарем униженная честь.

А где мое грядущее? Бог весть.
Изгнание чужое вспоминая,
С Овидием и я за дестью десть
Листал тетрадь на берегу Дуная.

За желть и желчь любил я этот край
И говорил: — Кузнечик мой, играй! —
И говорил: — Семь лет пути до Рима!

Теперь мне и до степи далеко.
Живи хоть ты, глоток сухого дыма,
Шалаш, кожух, овечьё молоко.

О, только бы привстать, опомниться,
очнуться
И в самый трудный час благословить труды,
Вспойввшие луга, вскормившие сады,
В последний раз глотнуть из выгнутого
блюдца
Листа ворсистого
хрустальный мозг воды.

Дай каплю мне одну, моя трава земная,
Дай клятву мне взамен — принять в
наследство речь,
Гортанью разрастись и крови не беречь,
Не помнись обо мне и, мой словарь ломая,
Свой пересохший рот моим огнем обжечь.

ПОЗДНЯЯ ЗРЕЛОСТЬ

Не для того ли мне поздняя зрелость,
Чтобы, за сердце схватившись, оплакать
Каждого слова сентябрьскую спелость,
Яблока тяжесть, шиповника мякоть,

Над лесосекой тянувшийся порох,
Сухость брусничной поляны, и ради
Правды—вернуться к стихам, от которых
Только помарки остались в тетради.

Все, что собрали, сложили в корзины,
И на мосту прогремела телега.
Дай мне еще поклониться с вершины,
Дай удержаться до первого снега.

ЯВЬ И РЕЧЬ

Как зрение — сетчатке, голос — горлу,
Число — рассудку, ранний трепет —
сердцу.

Я клятву дал вернуть мое искусство
Его животворящему началу.

Я гнул его, как лук, я тетивой
Душил его — и клятвой пренебрег.

Не я словарь по слову составлял,
А он меня творил из красной глины;
Не я пять чувств, как пятерню Фома,
Вложил в зияющую рану мира,
А рапа мира облегла меня;
И жизнь жива помимо нашей воли.

Зачем учил я посох прямизне,
Лук — кривизне и птицу — птичьей
роще?

Две кисти рук, вы на одной струне,
О явь и речь, зрачки расширьте мне,
И причастите вашей царской мощи,

И дайте мне остаться в стороне
Свидетелем свободного полета
Воздвигнутого чудом корабля,
О, два крыла, две лопасти оплота,
Надежного, как воздух и земля!

ПЕСНЯ

Давно мои ранние годы пропли
По самому краю,
По самому краю родимой земли,
По скошенной мяте, по сипему раю,
И я этот рай навсегда потеряю.

Колышется ива на том берегу,
Как белые руки.
Пройти до конца по мосту не могу,
Но лучшего имени влажные звуки
На память я взял при последней
разлуке.

Стоит у излучки
И моет в воде свои белые руки,
А я перед ней в неоплатном долгу.
Сказал бы я, кто на поемном лугу
На том берегу
За ивой стоит, как русалка над речкой,
И с пальца на палец бросает колечко.

ВЕТЕР

Душа моя затосковала почью.

А я любил изорванную в клочья,
Исхлестанную ветром темноту
И звезды, брезжущие на лету
Над мокрыми сентябрьскими садами,
Как бабочки с незрячими глазами,
И на цыганской масляной реке
Шатучий мост, и женщину в платке,
Спадавшем с плеч над медленной водою,
И эти руки, как перед бедою.

И кажется, она была жива,
Жива, как прежде, но ее слова
Из влажных Л теперь не означали
Ни счастья, ни желаний, ни печали,
И больше мысль не связывала их,
Как повелось на свете у живых.

Слова горели, как под ветром свечи,
И гасли, словно ей легло на плечи
Все горе всех времен. Мы рядом шли,
Но этой горькой, как полынь, земли
Она уже стопами не касалась
И мне живою больше не казалась.

ПЕРВЫЕ СВИДАНИЯ

Свиданий наших каждое мгновенье,
Мы праздновали, как богоявление,
Одни на целом свете. Ты была
Смелей и легче птичьего крыла,
Но лестнице, как головокруженье,
Через ступень сбегала и вела
Сквозь влажную сирень в свои владенья
С той стороны зеркального стекла.

Когда настала ночь, была мне милость
Дарована, алтарные врата
Отворены, и в темноте светилась
И медленно клонилась нагота,
И, просыпаясь: «Будь благословенна!»—
Я говорил, и знал, что дерзновенно
Мое благословенье: ты спала,
И тронуть веки синевой вселенной
К тебе сирень тянулась со стола,
И синевой тронутые веки
Спокойны были, и рука тепла.

А в хрустале пульсировали реки,
Дымились горы, брезжили моря,
И ты держала сферу на ладони
Хрустальную, и ты спала на троне,
И — боже правый! — ты была моя.

Ты пробудилась и преобразила
Вседневный человеческий словарь,
И речь по горло полнозвучной силой
Наполнилась, и слово *ты* раскрыло
Свой новый смысл и означало: *царь*.

На свете все преобразилось, даже
Простые вещи — таз, кувшин, — когда
Стояла между нами, как на страже,
Слоистая и твердая вода.

Нас повело неведомо куда.
Пред нами расступались, как миражи,
Построенные чудом города,
Сама ложилась мята нам под ноги,
И птицам с нами было по дороге,
И рыбы подымались по реке,
И небо развернулось пред глазами...

Когда судьба по следу шла за нами,
Как сумасшедший с бритвою в руке.

ПОД ПРЯМЫМ УГЛОМ

Мы — только под прямым углом,
Наперекор один другому,
Как будто не привыкли к дому
И в разных плоскостях живем,

Друг друга потеряли в давке
И порознь вышли с двух сторон
И бережно несем, как сон,
Оконное стекло из лавки.

Мы отражаем все и вся
И понимаем с полуслова,
Но только не один другого,
Жизнь, как стекло, в руках неся.

Пока мы время тратим, споря
На двух враждебных языках,
По стенам катятся впотьмах
Колеса радуг в коридоре.

ТЕМНЕЕТ

Какое счастье у меня украли!
Когда бы ты пришла в тот страшный
год,
В орлянку бы тебя не проиграли,
Души бы не пустили в оборот.

Мне девочка с венгерскою шарманкой
Поет с падающей хрипотой о том,
Как вывернуло время вверх изнанкой
Твою судьбу под проливным дождем,

И старческой рукою моет стекла
Сентябрьский ветер, и уходит прочь,
И челка у шарманщицы намокла,
И вот уже у нас в предместье — ночь.

ЭВРИДИКА

У человека тело
Одно, как одиночка.
Душе осточертела
Сплошная оболочка
С ушами и глазами
Величиной в пятак
И кожей — шрам на шраме,
Надетой на костяк.

Летит сквозь роговицу
В небесную криницу,
На ледяную спицу,
На птичью колесницу
И слышит сквозь решетку
Живой тюрьмы своей
Лесов и нив трещотку,
Трубу семи морей.

Душе грешно без тела,
Как телу без сорочки,—
Ни помысла, ни дела,
Ни замысла, ни строчки.
Загадка без разгадки:
Кто возвратится вспять,
Сняв на той площадке,
Где некому плясать?

И снится мне другая
Душа, в другой одежде:
Горит, перебегая
От робости к надежде,
Огнем, как спирт, без тени
Уходит по земле,
На память гроздь сирени
Оставив на столе.

Дитя, беги, не сетуй
Над Эвридикой бедной
И палочкой по свету
Гони свой обруч медный,
Пока хоть в четверть слуха
В ответ на каждый шаг
И весело и сухо
Земля шумит в ушах.

НОЧЬ ПОД ПЕРВОЕ ИЮНЯ

Пока еще последние колена
Последних соловьев не отгремели
И смутно брезжит у твоей постели
Боярышника розовая пена,

Пока ложится железнодорожный
Мост, как самоубийца, под колеса
И жизнь моя над черной рябью плеса
Летит стремглав дорогой непреложной,

Спи, как на сцене, на своей поляне,
Спи,— эта ночь твоей любви короче,—
Спи в сказке для детей, в ячейке ночи,
Без имени в лесу воспоминаний.

Так вот когда я стал самим собою,
И что ни день—мне новый день дороже,
Но что ни почь — пристрастнее и строже
Мой суд нетерпеливый над судьбою...

ВЕСЕННЯЯ ПИКОВАЯ ДАМА

Зимний Германи поставил
Жизнь на карту свою —
Мы играем без правил,
Как в неравном бою.

Тридцать первого марта
Карты сами сдаем.
Снега черная карта
Бита красным тузом.

Германи дернул за ворот
И крючки оборвал,
И свалился на город
Воробьиный обвал,

И ножи копькобежец
Зашвырнул под кровать,
Начал лед-громовержец
На реке баловать,

Охмелев от азарта,
Мечет масти квартал,
А игральные карты
Сроду в руки не брал.

ФОНАРИ

Мне запомнится таянье снега
Этой горькой и ранней весной,
Пьяный ветер, хлеставший с разбега
По лицу ледяною круной,
Беспокойная близость природы,
Разорвавшей свой белый покров,
И косматые шумные воды
Под железом угрюмых мостов.

Что вы значили, что предвещали,
Фонари под холодным дождем,
И на город какие печали
Вы послали в безумье своем,
И какую тревогою ранен
И обидой какой уязвлен
Из-за ваших огней горожанин,
И о чем сокрушается он?

А быть может, он вместе со мною
Исполняется той же тоски
И следит за свинцовой волною,
Под мостом обходящей быки?
И его, как меня, обманули
Вам подвластные тайные сны,
Чтобы легче нам было в июле
Отказаться от черной весны.

ШИПОВНИК

Т. О.-Т.

Я завещаю вам шиповник,
Весь полный света, как фонарь,
Июньских бабочек письмовник,
Задворков праздничный словарь.

Едва калитку отворяли,
В его корзине сам собой,
Как струны в запертом рояле,
Гудел и звякал разнобой.

Там, по ступеням свстотени,
Прямыми крыльями стуча,
Сновала радуга видений
И вдоль и поперек луча.

Был очевиден и понятен
Пространства замкнутого шар —
Сплетенье линий, лепест пятен,
Мельканье брачующихся пар.

ДАГЕСТАН

Я лежал на вершине горы,
Я был окружен землей.
Заколдованный край внизу
Все цвета потерял, кроме двух:
Светло-синий,
Светло-коричневый там, где по
синему камню писало перо Азраила.
Вкруг меня лежал Дагестан.

Разве гадал я тогда,
Что в последний раз
Читаю арабские буквы на камнях
горделивой земли?
Как я посмел променять на чет и
нечет любви
Разреженный воздух горы?

Чтобы здесь
В ложке плавить на желтом огне
Дагестанское серебро?
Петь:
«Там я жил пад ручьем,
Мыл в ледяной воде
Простую одежду мою»?

ИЗ ОКНА

Наверчены звездные линии
На северном полюсе мира,
И прямоугольная, сияя
В окно мое вдвинута лира.

А ниже — бульвары и здания
В кристальном скрипящем напеве,—
Как будущее, как сказание,
Как Будда у матери в чреве.

Мне остытели слова, слова, слова,
Я больше не могу превозносить права
На речь разумную, когда всю ночь о крышу
В отреньях, как вдова, колотится листва.
Оказывается, я просто плохо слышу,
И неразборчива ночная речь вдовства.
Меж нами есть родство. Меж нами нет
родства.
И если я твержу деревьям сумасшедшим,
Что у меня в росе по локоть рукава,
То, кроме стога, им уже ответить печем.

ТЕЛЕЦ, ОРИОН, БОЛЬШОЙ ПЕС

Могучая архитектура ночи!
Рабочий ангел купол повернул,
Вращающийся на древесных кронах,
И обозначились между стволами
Проемы черные, как в старой церкви,
Забытой богом и людьми.

Но там
Взошли мои алмазные Плеяды.

Семь струн привязывает к ним Сапфo
И говорит:

«Взошли мои Плеяды,
А я одна в постели, я одна,
Одна в постели!»

Ниже и левей
В горячем персиковом блеске встали,
Как жертва у престола, золотые
Рога Тельца

и глаз его, горящий
Среди Гиад,
как Ветхого завета
Еще одна скрижаль.

Проходит время,
Но — что мне время?

Я терпелив,
я подождать могу,
Пока взойдет за жертвенным Тельцом
Немыслимое чудо Ориона,
Как бабочка безумная, с купелью
В своих скрипучих проволочных
лапках,
Где были крещены Земля и Солнце.

Я подожду,
пока в лучах стеклянных
Сам Сириус —
с египетской, загробной,
собачьей головой —
Взойдет.

Мне раз еще увидеть суждено
Сверкающее это полотенце,
Божественную перемышку счастья,
И что бы люди там ни говорили —
Я доживу, переберу позвездно,
Пересчитаю их по каталогу,
Перечитаю их по книге ночи.

СНЕЖНАЯ НОЧЬ В ВЕНЕ

Ты безумна, Изора, безумна и зла,
Ты кому подарила свой перстень с отравой
И за дверью трактирной тихонько ждала:
Моцарт, пей, не тужи, смерть в союзе
со славой.

Ах, Изора, глаза у тебя хороши
И черней твоей черной и горькой души.
Смерть позорна, как страсть. Подожди, уже
скоро,
Ничего, он сейчас задохнется, Изора.

Так лети же, снегов не касаясь стопой:
Есть кому еще уши залить глухотой
И глаза слепотой, есть еще голодуха,
Госпитальный фонарь и сиделка-старуха.

ЗИМОЙ

Куда меня ведет подруга —
Моя судьба, моя судьба?
Бредем, теряя кромку круга
И спотыкаясь о гроба.

Не видно месяца над нами,
В сугробах вязнут костыли,
И души белыми глазами
Глядят вослед поверх земли.

Ты помнишь ли, скажи, старуха,
Как проходили мы с тобой
Под этой каменной стеной
Зимой студенной, в час ночной,
Давным-давно, и так же глухо,
Вполголоса и в четверть слуха,
Гудело эхо за спиной?

СИНИЦЫ

В снегу, под небом синим,
а меж ветвей — зеленым,
Стояли мы и ждали
подарка на дорожке.
Синицы полетели
с неизъяснимым звоном,
Как в греческой кофейне
серебряные ложки.

Могло бы показаться,
что там невесть откуда
Идет морская синька
на белый камень мола,
И вдруг из рук служанки
под стол летит посуда,
И ложки подбирает,
бранясь, хозяин с пола.

КОНЕЦ НАВИГАЦИИ

В затонах остывают пароходы,
Чернильные загустевают воды,
Свинцовая темнеет белизна,
И если впрямь земля болеет нами,
То стала выздоравливать она —
Такие звезды блещут над снегами,
Такая наступила тишина,
И вот уже из ледяного плена
Едва звучит последняя сирена.

НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ

Я не буду спать
Ночью новогодней,
Новую тетрадь
Я начну сегодня.

Ради смысла дат
И преображенья
С головы до пят
В плоть стихотворенья —

Год переберу,
Месяцы по строчке
Передам перу
До последней точки.

Где оно — во мне
Или за дверями,
В яви или сне
За семью морями,

В пляске по снегам
Белой круговерти,—
Я не знаю сам,
В чем мое бессмертье,

Но из декабря
Брошусь к вам, живущим
Вне календаря,
Наравне с грядущим.

О, когда бы рук
Мне достало на год
Кончить новый круг!
Строчки сами лягут...

МАЛИНОВКА

Душа и не глядит
 на рифму конопляную,
 Сидит, не чистит перышек,
 не продувает горла:
 Бывало, мол, и я
 певала над поляною,
 Сегодня, мол, не в голосе,
 в зобу дыханье сперло.

Пускай душа чуть-чуть
 распустится и сдвинется,
 Хоть на пятнадцать градусов,
 и этого довольно,
 Чтобы всю пошла
 свистать, как именинница,
 И стало ей, малиновке,
 и весело и больно.

Словарь у нас простой,
 созвучья — из пословицы.
 Попробуйте подставьте ей
 сиреневую ветку,
 Она с любим из вас
 пошутит и условится
 И с собственной тетрадкой
 пойдет послушно в клетку.

Все пять лучей останутся у вас.
Я каждый день минувшего, как
крепью,
Ключицами своими подпирал,
Измерил время землемерной цепью
И сквозь него прошел, как сквозь Урал.

3

Я век себе по росту подбираю.
Мы шли на юг, держали пыль над
степью;
Бурьян чадил; кузнечик баловал,
Подковы трогал усом, и пророчил,
И гибелью грозил мне, как монах.
Судьбу свою к седлу я приторочил;
Я и сейчас в грядущих временах,
Как мальчик, привстаю на стремях.

Мне моего бессмертия довольно,
Чтоб кровь моя из века в век текла.
За верный угол ровного тепла
Я жизнью заплатил бы своевольно,
Когда б ее летучая игла
Меня, как нить, по свету не вела.

СНЫ

Садится ночь на подоконник,
Очки волшебные надев,
И длинный вавилонский сонник,
Как жрец, читает нараспев.

Уходят вверх ее ступени,
Но нет перил над пустотой,
Где судят тени, как на сцене,
Иноязычный разум твой.

Ни смысла, ни числа, ни меры.
А судьбы кто? И в чем твой грех?
Мы вышли из одной пещеры,
И клинопись одна для всех.

Явь от потопа до Эвклида
Мы досмотреть обречены.
Отдай — что взял; что видел —
выдай!
Тебя зовут твои сыны.

И ты на чьем-нибудь пороге
Найдешь когда-нибудь приют,
Пока быки бредут, как боги,
Боками трутся на дороге
И жвачку времени жуют.

ПЕТРОВСКИЕ КАЗНИ

Передо мною плаха
На площади встает,
Червонная рубаха
Забиться не дает.

По лугу волю славить
С косой идет косарь.
Идет Москву кровавить
Московский государь.

Стрельцы, гасите свечи!
Вам, косарям, вора́м,
Ломать крутые плечи
Идет последний срам.

У, буркалы Петровы.
Навыкате белки!
Холстинные обновы.
Сынки мои, сыпки!

Но скорее они — кредиторы
И пришли навсегда, навсегда,
И счета принесли.

Невозможно
Воду в ступе, не спавши, толочь,
Невозможно заснуть, — так
тревожна
Для покоя нам данная ночь.

НОЧНАЯ РАБОТА

Свет зажгу, на чернильные пятна
Погляжу и присяду к столу,—
Пусть поет, как сверчок, непонятно
Электрический счетчик в углу,

Пусть голодные мыши скребутся,
Словно шастать им некогда днем,
И часы надо мною смеются
На дотошном наречье своем,—

Я возьмусь за работу ночную,
И пускай их до белого дня
Обнимаются напропалую,
Пьют вино, кто моложе меня.

Что мне в том? Непочатая глыба,
На два века труда предо мной.
Может, кто-нибудь скажет спасибо
За постылый мой подвиг ночной.

ОЛИВЫ

Марине Т.

Дорога ведет под обрыв,
Где стала трава на колени
И призраки диких олив,
На камни рога положив,
Застыли, как стадо оленей.
Мне странно, что я еще жив
Средь стольких могил и видений.

Я сторож вечерних часов
И серой листвы надо мною.
Осеннее небо мой кров.
Не помню я собственных снов
И слез твоих поздних не стою.
Давно у меня за спиною
В камнях затерялся твой зов.

А где-то судьба моя прячет
Ключи у степного костра,
И спутник ее до утра
В багровой рубахе маячит.
Ключи она прячет и плачет
О том, что ей песня сестра
И в путь собираться пора.

Седые оливы, рога мне
Кладите на плечи теперь,
Кладите рога, как на камни:
Святой колыбелью была мне
Земля похорон и потерь.

КНИГА ТРАВЫ

О нет, я не город с кремлем над рекой,
Я разве что герб городской.

Не герб городской, а звезда над щитком
На этом гербе городском.

Не гостья небесная в черни воды,
Я разве что имя звезды.

Не голос, не платье на том берегу,
Я только светиться могу.

Не луч световой у тебя за спиной,
Я — дом, разоренный войной.

Не дом на высоком валу крепостном,
Я — память о доме твоём.

Не друг твой, судьбою ниспосланный друг,
Я — выстрела дальнего звук.

В приморскую степь я тебя уведу,
На влажную землю паду,

И стану я книгой младенческих трав,
К родимому лону припав.

ПОЛЕВОЙ ГОСПИТАЛЬ

Стол повернули к свету. Я лежал
Вниз головой, как мясо на весах,
Душа моя на нитке колотилась,
И видел я себя со стороны:
Я без довесков был уравновешен
Базарной жирной гирей.

Это было
Посередине снежного щита,
Щербатого по западному краю,
В кругу незамерзающих болот,
Деревьев с перебитыми ногами
И железнодорожных полустанков
С расколотыми черепами, черных
От снежных шапок, то двойных, а то
Тройных.

В тот день остановилось время,
Не шли часы, и души поездов
По насыпям не пролетали больше
Без фонарей, на серых ластах пара,
И ни вороньих свадеб, ни метелей,
Ни оттепелей не было в том лимбе,
Где я лежал в позоре, в наготе,
В крови своей, вне поля тяготенья
Грядущего.

Но сдвинулся и на оси пошел
По кругу щит слепительного снега,
И низко у меня над головой
Семерка самолетов развернулась,
И марля, как древесная кора,
На теле затвердела, и бежала
Чужая кровь из колбы в жилы мне,
И я дышал, как рыба на песке,
Глотая твердый, слюдяной, земной,
Холодный и благословенный воздух.

Мне губы обметало, и еще
Меня поили с ложки, и еще
Не мог я вспомнить, как меня зовут,
Но ожил у меня на языке
Словарь царя Давида.

А потом

И снег сошел, и ранняя весна
На цыпочки привстала и деревья
Окутала своим платком зеленым.

ДОРОГА

Н. Л. Степанову

Я врезался в возраст учета
Не сдавшихся возрасту прав,
Как в город из-за поворота
Железнодорожный состав.

Еще я в дымящихся звездах
И чертополохе степей,
И жаркой воронкою воздух
Стекает по коже моей.

Когда отдышаться сначала
Не даст мне мое божество,
Я так отойду от вокзала
Уже без себя самого —

Пойду под уклон за подмогой,
Прямую сгибая в дугу,—
И кто я пред этой дорогой?
И чем похвалиться могу?

МЩЕНИЕ АХИЛЛА

Фиолетовой от зноя,
Остывающей рукой
Рану смертную потрогал
Умирающий Патрокл,

И последнее, что слышал,—
Запредельный вой тетив,
И последнее, что видел,—
Пальцы склеивает кровь.

Мертв лежит он в чистом поле,
И Ахилл не пьет, не ест,
И пока ломает руки,
Щит кует ему Гефест.

Равнодушно пьют герои
Хмель времен и хмель могил,
Мчит вокруг горящей Трои
Тело Гектора Ахилл.

Пожалел Ахилл Приама,
И несет старик Приам
Мимо дома, мимо храма
Жертву мстительным богам.

Не Ахилл разрушит Трои,
И его лучистый щит
Справедливою рукою
Новый мститель сокрушит.

И еще на город ляжет
Семь пластов сухой земли,
И стоит Ахилл по плечи
В щебне, прахе и золе.

Так не дай пролить мне крови,
Чистой, грешной, дорогой,
Чтобы клейкой красной глины
В смертный час не мять рукой.

I

Июнь, июль, пройди по рынку,
Найди в палатке бой и лом
И граммофонную пластинку
Прогрей пожарче за стеклом,

В трубу немую и кривую
Пластмассу черную сверни,
Расплавь дорожку звуковую
И время дай остыть в тени.

Поостеречься бы, да поздно:
Я тоже под иглой пою
И все подряд раздам позвездно,
Что в кожу врезано мою.

II

Я не пойду на первое свиданье,
Ни в чем не стану подражать Монтану,
Не зарыдаю гулко, как Шаляпин.
Сказать — скажу: я полужил и полу-
казалось — жил,
и сам себя прошляпил.

Уймите, ради бога, радиолу!

V. СКАЗКИ

КУЗНЕЧИКИ

1

Тикают ходики, ветер горячий
В полдень снует челноком по Москве,
Люди бегут к поездам, а на даче
Пляшут кузнечики в желтой траве.

Кто не видал, как сухую солому
Пилит кузнечик стальным терпугом?
С каждой минутой по новому дому
Спичечный город растет за бугром.

Если бы мог я прийти на субботник,
С ними бы стал городить городок,
Я бы им строил, бетонщик и плотник,
Каменщик, я бы им камень толк.

Я бы точил топоры — я точильщик,
Я бы ковать им помог — я кузнец,
Кровельщик я, и стекольщик, и пильщик.
Я бы им песню пропел, наконец.

II

Кузнечик на лугу стрекочет
В своей защитной плащ-палатке,
Не то кует, не то пророчит,
Не то свой луг разрезать хочет
На трехвершковые площадки,
Не то он лугового бога
На языке зеленом просит:
— Дай мне пожить еще немного,
Пока травы коса не косит!

ЛУНА И КОТЫ

Прорвав насквозь лимонно-серый
Опасный конус высоты,
На лунных крышах, как химеры,
Вопят гундосые коты.

Из желобов ночное эхо
Выталкивает на асфальт
Их мефистофельского смеха
Коленчатый и хриплый альт.

И в это дикое искусство
Влагает житель городской
Свои предчувствия и чувства
С оттенком зависти мужской.

Он верит, что в природе ночи
И тьмы лоскут, и сна глоток,
Что ночь — его чернорабочий.

А сам глядит на лунный рог,
Где сходятся, как в средоточьи,
Котов египетские очи,
И пьет бессонницы белок.

ТЕЛЕФОНЫ

Номера — имена телефонов
Постигаются сразу, когда
Каждой вести пугаешься, тронув
Змеевидные их провода.

Десять букв алфавита без смысла,
Десять цифр из реестра судьбы
Сочетаются в странные числа
И года громоздят на горбы.

Их шемящему ритму покорный,
Начинаешь цвета различать,
Может статься, зеленый и черный —
В-1-27-45.

И по номеру можно дознаться,
Кто стоит на другой стороне,
Если взять телефонные святцы
И разгадку найти, как во сне,

И особенно позднею ночью
В час, когда по ошибке звонят,
Можно челюсть увидеть воочью,
Подбирая число наугад.

СЕРЕБРЯНЫЕ РУКИ

Девочка Серебряные Руки
Заблудилась под вечер в лесу.
В ста шагах разбойники от скуки
Свистом держат птицу на весу.

Кони спотыкаются лихие,
Как бутылки, хлопает стрельба,
Птичьи гнезда и сучки сухие
Обирает поверху судьба.

— Ой, березы вы мои, березы,
Вы мои пречистые ручьи,
Расступитесь и омойте слезы,
Расплетите косыньки мои,

Приоденьте корнем и корою,
Положите на свою кровать,
Помешайте злобе и разбою
Руки мои белые отнять!

ДРИАДА

Я говорю :

Чем стала ты, сестра моя Дриада,
В гостеприимном городском раю?
Кто отнял дикую вольность твою?
Где же твои крыла, пленница сада?

Дриада говорит :

Ножницы в рощу принесла досада,
И зависть выдала, в каком краю
Скрывалась я. Ты видишь — я стою,
Лирическая, музыке не рада.

Не называй меня сестрой своей,
Не выйду я из выгнутых ветвей,
Не перейду в твое хромоте тело,

Не обопрусь на твои костыли.
Ты не глотнешь от моего удела —
Жить памятью о праздниках земли.

ДВЕ ЯПОНСКИЕ СКАЗКИ

I. Бедный рыбак

Я рыбак, а сети
В море унесло.
Мне теперь, на свете
Пусто и светло.

И моя отрада
В том, что от людей
Ничего не надо
Нищете моей.

Мимо всей вселенной,
Я пойду, смиренный,
Тихий и босой,
За благословенной
Утренней звездой.

II. Флейта

Мне послышался чей-то
Затишающий зов,
Бесприютная флейта
Из-за гор и лесов.

Наклоняется ива
Над студеным ручьем,
И ручей торопливо
Говорит ни о чем,

Осторожный и звонкий,
Будто веретено
То всплывает в воронке,
То уходит на дно.

ИМЕНА

А ну-ка, Македонца или Пушкина
Попробуйте назвать не Александром,
А как-нибудь иначе!

Не пытайтесь.

Еще Петру Великому придумайте
Другое имя!

Ничего не выйдет.

Встречался вам когда-нибудь юродивый,
Которого не называли Гришей?
Нет, не встречался, если не соврать.

И можно кожу заживо сорвать,
Но имя к нам так крепко припечатано,
Что силы нет переименовать,
Хоть каждое затерто и захватано.
У нас не зря про имя говорят: оно
Ни дать ни взять родимое пятно.

Недавно изобретена машинка:
Приставят к человеку и глядишь —
Ушная мочка, малая морщинка,
Ухмылка, крылышко ноздри, горбинка, —
Пищит, как бы комарик или мышь:

— Иван!

— Семен!

— Василий!

Худо, братцы,
Чужая кожа пристаёт к носам.

Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.

РУМПЕЛЬШТИЛЬЦХЕН

Румпельштильцхен из сказки
немецкой

Говорил:

— Всех сокровищ на свете
Мне живое милей!
Мне живое милей!
Ждут подземные няньки,
А в детской —
Во какие кроты
Неземной красоты,
Но всегда не хватает детей!

Обманула его королева
И не выдала сына ему,
И тогда Румпельштильцхен от гнева
Прыгнул,

за ногу взялся,
Дернул
и разорвался
В отношении: два к одному,

И над карликом дети смеются,
И не жалко его никому,
Так смеются, что плечи трясутся,
Над его сумасшедшей тоской

И над тем, что на две половинки —
Каждой по рукаву и штанинке —
Сам свое подземельное тельце
Разорвал он своею рукой.

Непрактичный и злобный какой!

ЛАЗУРНЫЙ ЛУЧ

Тогда я запер на замок двери своего
дома и ушел вместе с другими.

Г. Уэллс

Сам не знаю, что со мною:
И последыш и пророк,
Что ни сбудется с землею
Вижу вдоль и поперек.

Кто у мачехи Европы
Молока не воровал?
Мотоциклы, как циклопы,
Заглотали перевал,

Шелестящие машины
Держат путь на океан,
И горячий дух резины
Дышит в пеших горожан.

Слесаря, портные, прачки
По шоссе, как муравьи,
Катят каторжные тачки,
Волокут узлы свои.

Потеряла мать ребенка,
Воздух ловит рыбьим ртом,
А из рук торчит пеленка
И бутылка с молоком.

Паралитик на коляске
Боком валится в кювет,
Бельма вылезли из маски,
Никому и дела нет.

Спотыкается священник
И бормочет:

— Умер бог. —

Голубки бумажных денег
Вылетают из-под ног.

К пристаням нельзя пробиться,
И Европа пред собой
Смотрит, как самоубийца,
Не мигая, на прибор.

В океане по колена,
Белый и большой, как бык,
У причала роет пену,
Накреньясь, «трансатлантик».

А еще одно мгновенье —
И от Страшного суда,
Как надежда на спасенье
Он отвалит навсегда.

По сто раз на дню, как брата,
Распинали вы меня,
Нет вам к прошлому возврата,
Вам подземка не броня.

— Ууу-ла! Ууу-ла! —

марсиане

Воют на краю Земли,
И лазурный луч в тумане
Их треножники зажгли.

ПАУЛЬ КЛЕЕ

Жил да был художник Пауль Клее
Где-то за горами, над лугами.
Он сидел себе один в аллее
С разноцветными карандашами,

Рисовал квадраты и крючочки,
Африку, ребенка на перроне,
Дьяволенка в голубой сорочке,
Звезды и зверей на небосклоне.

Не хотел он, чтоб его рисунки
Были честным паспортом природы,
Где послушно строятся по струнке
Люди, кони, города и воды,

Он хотел, чтоб линии и пятна,
Как кузнечики в июльском звоне,
Говорили слитно и понятно.
И однажды утром на картоне

Проступили крылышко и темя:
Ангел смерти стал обозначаться.
Понял Клее, что настало время
С музой и знакомыми прощаться.

Попрощался и скончался Клее.
Ничего не может быть печальней!
Если б Клее был немного злее,
Ангел смерти был бы натуральней,

И тогда с художником все вместе
Мы бы тоже сгнули со света,
Порастряс бы ангел наши кости!
Но скажите мне: на что нам это?

На погосте хуже, чем в музее,
Где порой вы бродите, живые,
И висят рядком картины Клее —
Голубые, желтые, блажные...

ЧЕТВЕРТАЯ ПАЛАТА

Девочке в сером халате,
Аньке из детского дома,
В женской четвертой палате
Каждая малость знакома —

Кружка и запах лекарства,
Няньки дежурной указки
И тридевятое царство —
Пятна и трещины в краске.

Будто синица из клетки,
Глянет из-под одеяла:
Не просыпались соседки,
Утро еще не настало?

Востренький нос, восковые
Пальцы, льняная косица.
Мимо проходят живые.
— Что тебе, Анька?

Не спится.

Ангел больничный за шторой
Светит одеждой туманной.
— Я за большой.

— За которой?

— Я за детдомовской Анной.

КУЗНЕЦ

Клянусь, мне столько лет, что
наковальня
И та не послужила бы так долго,
Куда уж там кувалде и мехам.
Сам на себе я самого себя
Самим собой ковал —
и горн гашу,
А все-таки работой недоволен:
Тут на железе трещина, тут выгиб
Не тот, тут — раковина, где должна бы
Свистеть волшебной флейтой горловина.

Не мастера ты выковал, кузнец,
Кузнечика ты смастерил, а это
И друг неверный, и плохой близнец,
Ни хлеба от такого, ни совета.

Что ж, топочи, железная нога!
Железная не там открылась книга.
Живи, браток, железным усом двигай!
А мне наутро — новая туга...

НОВОСЕЛЬЕ

Исполнены диллювиальной веры
В извечный быт у счастья под крылом,
Они переезжали из пещеры
В свой новый дом.

Не странно ли? В квартире так недавно
Царили кисть, линейка и алмаз,
И с чистотою, нимфой богоравной,
Бог пустоты здесь прятался от нас.

Но четверо нечленов профсоюза —
Атлант, Сизиф, Геракл и Одиссей —
Контейнеры, трещащие от груза,
Внесли, бахвалясь алчностью своей.

По-жречески приплясывая рьяно,
С молитвенным заклятием «наддай!»
Втащили Попокатепетль дивана,
Малиновый, как первозданный рай,

И, показав, на что они способны,
Без помощи своих железных рук
Вскочили на буфет пятиутробный
И Афродиту подняли на крюк.

Как нежный сгусток розового сала,
Она плыла по морю одеял
Туда, где люстра, как фазан, сияла
И свет зари за шторой умирал.

Четыре мужа, Анадиомене
Воздав смущенно страстные хвалы,
Ушли.

Хозяйка, преклонив колени,
Взялась за чемоданы и узлы.

Хозяин расставлял фарфор.

Не всякий
Один сюжет ему придать бы мог:
Здесь были:

свиньи,
чашки
и собаки,
Наполеон
и Китеж-городок.

Он отыскал собранье сочинений
Молоховец —

и в кабинет унес,
И каждый том, который создал гений,
Подставил, как Борей, под пылесос.

Потом, на час покинув нашу эру
И новый дом со всем своим добром,
Вскочил в такси

и покатил в пещеру,
Где ползал в детстве перед очагом.

Там Пень стоял — дубовый, в три
обхвата,
Хранитель рода и Податель сил.
О, как любил он этот Пень когда-то!
И как берег! И как боготворил!

И Пень теперь в гостиной, в сердцевине
Диковинного капища вещей
Гордится перед греческой богиней
Неоспоримой древностью своей.

Когда на праздник новоселья гости
Сошлись и дом поставили вверх дном,
Как древле — прадед,
мамонтовы кости

На нем
рубил
хозяин
топором!

Вестник

1966 · 1971

4

* * *

И я ниоткуда
Пришел расколоть
Единое чудо
На душу и плоть,

Державу природы
Я должен рассечь
На песню и воды,
На сушу и речь

И, хлеба земного
Отведав, прийти
В свечении слова
К началу пути.

Я сын твой, отрада
Твоя, Авраам,
И жертвы не надо
Моим временам,

А сколько мне в чаше
Обид и труда...
И после сладчайшей
Из чаш —
 никуда?

Когда вступают в спор природа и словарь
И слово силится отвлечься от явлений,
Как слепок от лица, как цвет от светотени,—
Я нищий или царь? коса или косарь?

Но миру своему я не дарил имен:
Адам косил камыш, а я плету корзину.
Коса, косарь и царь, я нищ наполовину,
От самого себя еще не отделен.

* * *

Я по каменной книге учу вневременный язык,
Меж двумя жерновами плыву, как зерно
в камневерти,
И уже я по горло в двухмерную плоскость
проник,
Мне хребет размололо на мельнице жизни
и смерти.

Что мне делать, о посох Исайи, с твоей
прямизной?
Тоньше волоса пленка без времени, верха и
низа.
А в пустыне народ на камнях собирался, и в
зной
Кожу мне холодила рогожная царская риза.

ЗИМА В ДЕТСТВЕ

I

В желтой траве отплясали кузнечики,
Мальчику на зиму кутают плечики,
Рамы вставляют, летает снежок,
Дунула вьюга в почтовый рожок,
А за воротами шаркают пыльщики,
И ножи-ножницы точат точильщики,
Сани скрипят, и снуют бубенцы,
И по железу стучат кузнецы.

II. Мерещится вейлка

А в доме у Тарковских
Полным-полно приезжих,
Гремят посудой, спорят,
Не разбирают елки,

И сыплются иголки
В зеркальные скорлупки,
Пол серебром посолен,
А самый младший болен.

На лбу компресс, на горле
Компресс. Идут со свечкой.
Малиной напоили?
Малиной напоили.

В углу зажгли лампадку,
И веялку приносят
И ставят на площадку,
И крутят рукоятку,

И сыплются обрезки —
Жестянки и железки.
Вставай, пойдем по краю,
Я все тебе прощаю.

То пѳд гору, то в гору!
Пойдем в другую пору
По зимнему простору,
Малиновому снегу.

Тогда еще не воевали с Германией,
Тринадцатый год был еще в середине,
Неведеньем в доме болели, как манией,
Как жаждой три пальмы в песчаной
пустыне.

У матери пахло спиртовкой, фиалкою,
Лиловой накидкой в шкафу, на распялке;
Все детство мое, по-блаженному жалкое,
В горячей спиртовке и пармской фиалке.

Зато у отца, как в Сибири у ссыльного,
Был плед Гарибальди и Герцен под локтем.
Ванилью тянуло от города пыльного,
От пригорода — конским потом и дегтем.

Казалось, что этого дома хозяева
Навечно в своей довоенной Европе,
Что не было, нет и не будет Сараева,
И где они, эти мазурские топи?..

Позднее наследство,
Призрак, звук пустой,
Ложный слепок детства,
Бедный город мой.

Тяготит мне плечи
Время стольких лет.
Смысла в этой встрече
На поверку нет.

Здесь теперь другое
Небо за окном —
Дымно-голубое,
С белым голубком.

Резко, слишком резко,
Издали видна,
Рдеет занавеска
В прорези окна,

И, не узнавая,
Смотрит мне вослед
Маска восковая
Стародавних лет.

Я в детстве заболел
 От голода и страха. Корку с губ
 Сдеру — и губы облизну; запомнил
 Прохладный и солоноватый вкус.
 А все иду, а все иду, иду,
 Сижу на лестнице в парадном, греюсь,
 Иду себе в бреду, как под дуду
 За крысоловом в реку, сяду — греюсь
 На лестнице; и так знобит и эдак.
 А мать стоит, рукою манит, будто
 Невдалеке, а подойти нельзя:
 Чуть подойду — стоит в семи шагах,
 Рукою манит; подойду — стоит
 В семи шагах, рукою манит.

Жарко

Мне стало, расстегнул я ворот, лег,—
 Тут затрубили трубы, свет по векам
 Ударил, кони поскакали, мать
 Над мостовой летит, рукою манит —
 И улетела...

И теперь мне снится
 Под яблонями белая больница,
 И белая под горлом простыня,
 И белый доктор смотрит на меня,

И белая в ногах стоит сестрица
 И крыльями поводит. И остались.
 А мать пришла, рукою поманила —
 И улетела...

Твой каждый стих — как чаша яда,
Как жизнь, спаленная грехом,
И я дышу, хоть и не надо,
Нельзя дышать твоим стихом.

Ты бедный мальчик сумасшедший,
С каких-то белых похорон
На пиршество друзей приведший
Колоколов прощальный звон.

Прости меня, я как в тумане
Приникну к твоему плащу
И в черной выношенной ткани
Такую стужу отыщу,

Такой возврат невыносимый
Смертельной юности моей,
Что гул погибельной Цусимы
Твоих созвучий не страшней.

Тогда я простираю руки
И путь держу на твой магнит,
А на земле в последней муке
Внизу —

душа моя скорбит...

НОЧНАЯ БАБОЧКА «МЕРТВАЯ ГОЛОВА»

Ходит Пиковая дама,
Палец с головой Адама,
Вверх и вниз под потолком,
Стекол кожу неживую,
Будто рану ножевую,
Метит белым сквозняком.

Треплет свечку, морщит пламя
Знамя ночи вкось углами,
Соглядатай, часовой,
Жироватый, суховатый...
— Чур, щеки не припечатай,
Чур, не трогать, я живой!

Ночью все мы на чужбине
Под воронкой черно-синей,
В царстве чуждых душ и тел,
Днем — в родительском гнездовье
Душным потом, красной кровью
Ограничим свой предел.

* * *

Третьи сутки дождь идет,
Ковыряет серый лед
И вороне на березе
Мочет клюв и перья мнет
(Дождь пройдет).

Недаром к прозе
(Все проходит)

сердце льнет,
К бедной прозе на березе,
На реке и за рекой
(Чуть не плача),

к бедной прозе
На бумаге под рукой.

ЛАСТОЧКИ

Летайте, ласточки, но в клювы не берите
Ни пилки, ни сверла, не делайте открытий,
Не подражайте нам; довольно и того,
Что вы по-варварски свободно говорите,
Что зоркие зрачки в почетной вашей свите
И первой зелени святое торжество.

Я в Грузии бывал, входил и я когда-то
По щебню и траве в пустынный храм
Баграта —
В кувшин расколотый, и над жерлом его
Висела ваша сеть. И Симон Чиковани
(А я любил его, и мне он был как брат)
Сказал, что на земле пред вами виноват —
Забыл стихи сложить о легком вашем стане,
Что в детстве здесь играл, что, может быть,
Баграт
И сам с ума сходил от ваших восклицаний.

Я вместо Симона хвалу вам воздаю.
Не подражайте нам, но только в том краю,
Где Симон спит в земле, вы спойте, как в
дурмане,
На языке своем одну строку мою.

Дом без жильцов заснул и снов не
видит.

Его душа, безгрешна и пуста,
В себя глядит закрытыми глазами,
Но самое себя не сознает
И дико вскидывается, когда
Из крана бульба плещется на кухне.
Водопровод молчит, и телефон
Молчит.

Ну что же, спи спокойно, дом,
Спи, кубатура-сирота! Вернутся
Твои жильцы, и время в чем попало —
В больших кувшинах, в синих ведрах,
в банках
Из-под компота — принесут, и окна
Отворят, и продуют сквозняком.

Часы стояли? Шли часы? Стояли.
Вот мы и дома. Просыпайся, дом!

ПЕРВАЯ ГРОЗА

Лиловая в Крыму и белая в Париже,
В Москве моя веспа скромней и сердцу
ближе,
Как девочка в слезах. А вор в дождевике
Под дождь — из булочной с бумажкой в
кулаке,
Но там, где туфелькой скользнула
изумрудной,
Беречься ни к чему и плакать безрассудно.
По лужам облака проходят косяком,
Павлиньи радуги плывут под каблуком,
И девочка бежит по гребню светотени
(А это жизнь моя) в зеленом по колени,
Авоськой машучи, по лестнице винтом,
И город весь внизу, и гром — за нею в
дом...

Вот и лето прошло
Словно и не бывало.
На пригреве тепло.
Только этого мало.

Все, что сбывься могло,
Мне, как лист пятипалый,
Прямо в руки легло.
Только этого мало.

Понапрасну ни зло,
Ни добро не пропало,
Все горело светло.
Только этого мало.

Жизнь брала под крыло.
Берегла и спасала,
Мне и вправду везло.
Только этого мало.

Листьев не обожгло,
Веток не обломало...
День промыт, как стекло.
Только этого мало.

Мне бы только теперь до конца не
раскрыться,
Не раздать бы всего, что напела мне птица,
Белый день наболтал, наморгала звезда,
Намгала вода, накислола кислица,
На прожиток оставить себе навсегда
Крепкий шарик в крови, полный света и
чуда,
А уж если дороги не будет назад,
Так втянуться в него, и не выйти оттуда,
И — в аорту, неведомо чью, наугад.

Мамка птичья и стрекозья,
Помутнела синева,
Душным воздухом предгрозы
Дышит жухлая трава.

По деревне ходит Каин,
Стекла бьет и на расчет,
Как работника хозяин,
Брата младшего зовет.

Духоту спибают холод,
По пшенице пляшет град.
Видно, мир и вправду молод,
Авель вправду виноват.

Я гляжу из-под ладони
На тебя, судьба моя,
Не готовый к обороне,
Будто в Книге Бытия.

ПРИАЗОВЬЕ

На полустанке я вышел. Чугун отдыхал
В кружных шарах маслянистого пара. Он
был
Царь ассирийский в клубящихся гроздьях
кудрей.
Степь отворилась, и в степь как воронкой
ветров
Душу втянуло мою. И уже за спиной
Не было мазанок; лунные башни вокруг
Зыблились и утверждались до края земли,
Ночь разворачивала из проема в проем
Твердое, плотно укатанное полотно.
Юность моя отошла от меня, и мешок
Сгорбил мне плечи. Ремни развязал я, и
хлеб
Солью посыпал, и степь накормил, а седьмой
Долей насытил свою терпеливую плоть.
Спал я, пока в изголовье моем остывал
Пепел царей и рабов и стояла в ногах
Полная чаша свинцовой азовской слезы.
Снилось мне все, что случится в грядущем
со мной.
Утром очнулся и землю землею назвал,
Зною подставил еще не окрепшую грудь.

* * *

Пляшет перед звездами звезда,
Пляшет колокольчиком вода,
Пляшет шмель и в дудочку дудит,
Пляшет перед скинией Давид.

Плачет птица об одном крыле,
Плачет погорелец на золе,
Плачет мать над люлькою пустой,
Плачет крепкий камень под пятой.

* * *

Во вселенной наш разум счастливый
Незадажное строит жилье,
Люди, звезды и ангелы живы
Шаровым натяженьем ее.
Мы еще не зачали ребенка,
А уже у него под ногой
Никуда выгибается пленка
На орбите его круговой.

* * *

Наша кровь не ревнует по дому,
Но зияет в грядущем пробел,
Потому что земное земному
На земле полагает предел.
Обезумевшей матери снится
Верещанье четверки коней,
Фэтон, и его колесница,
И багровые кубы камней.

* * *

На пространство и время ладони
Мы наложим еще с высоты,
Но поймем, что в державной короне
Драгоценней звезда нищеты,
Нищеты, и тщеты, и заботы
О нерадостном хлебе своем,
И с чужими созвездьями счесть
На земле материнской сведем.

Струнам счет ведут на лире
Наши древние права,
И всего дороже в мире
Птицы, звезды и трава.

До заката всем народом
Лепят ласточки дворец,
Перед солнечным восходом
Опускает лук Стрелец,

И в кувшинчик из живого
Персефонины стекла
Вынуть хлебец свой медовый
Опускается пчела.

Потасный ларь природы
Отмыкает нищий царь
И крадет залог природы —
Летних месяцев букварь.

Дышит мята в каждом слове,
И от головы до пят
Шарики зеленой крови
В капиллярах небурнат.

* * *

Стелил я снежную постель,
Луга и рощи обезглавил,
К твоим ногам прильнуть заставил
Сладчайший лавр, горчайший хмель.

Но марта не сменил апрель
На страже росписей и правил.
Я памятник тебе поставил
На самой слезной из земель.

Под небом северным стою
Пред белой, бедной, непокорной
Твоею высотой горной

И сам себя не узнаю,
Один, один в рубахе черной
В твоём грядущем, как в раю.

* * *

Когда у Николы Морского
Лежала в цветах нищета,
Смиренное чуждое слово
Светилось темно и сурово
На воске державного рта.

Но смысл его был непонятен,
А если понять — не сбечь,
И был он, как небыль, невнятен
И разве что — в трепете пятен
Вокруг оплывающих свеч.

И тень бездомной гордыни
По черному Невскому льду,
По снежной Балтийской пустыне
И по Адриатике синей
Летела у всех на виду.

Домой, домой домой,
Под сосны в Комарове...
О, смертный ангел мой
С венками в изголовье,
В косынке кружевной,
С крылами наготове!

Как для деревьев снег,
Так для земли не бремя
Открытый твой ковчег,
Плывущий перед всеми
В твой двадцать первый век,
Из времени во время.

Последний луч несла
Зима над головою,
Как первый взмах крыла
Из-под карельской хвои,
И звезды ночь зажгла
Над снежной синевою.

И мы тебе всю ночь
Бессмертье обещали,
Просили нам помочь
Покинуть дом печали,
Всю почь, всю ночь, всю почь.
И снова почь в начале.

И эту тень я проводил в дорогу
Последнюю — к последнему порогу,
И два крыла у тени за спиной,
Как два луча, померкли понемногу.

И год прошел по кругу стороной.
Зима трубит из просеки лесной.
Нестройным звоном отвечает рогу
Карельских сосен морок слюдяной.

Что, если память вне земных условий
Бессильна день восстановить в ночи?
Что, если тень, покинув землю, в слове
Не пьет бессмертья?

Сердце, замолчи,
Не лги, глотни еще немного крови,
Благослови рассветные лучи.

ЗАСУХА

Земля зачерствела, как губы,
Обметанные сыпняком,
И засухи пыльные трубы
Беззвучно гудели кругом,

И высохло русло речное,
Вода из колодцев ушла.
Навечно осталась от зноя
В крови ледяная игла.

Качается узкою лодкой
И делится в сердце мос,
Но, видно, дороги короткой
Не может найти острие.

Есть в круге грядущего мира
Для засухи этой приют,
Где души скитаются сиром
И ложной надеждой живут.

ЭРЕБУНИ

Они хотели всем народом
Распад могильный обмануть
И араратским кислородом
Продуть холма сухую грудь.

Под спудом бусина синела,
И в черноте черным-черно
Чернело и окаменело
В кувшине царское зерно.

Кремля скалистые основы
Уже до пят оголены,
И в струнку стал кирпич сырцовый
Подштукатуренной стены.

А ласточки свой посвист длинный
Натягивают на лету
На подновленные руины
Во всю их ширь и пустоту.

Им только бы земля пестрела
В последних числах ноября,
И нет им никакого дела
До пририсованного тела
Давно истлевшего царя.

Когда под соснами, как подневольный раб,
Моя душа несла истерзанное тело,
Еще навстречу мне земля стремглав
летела
И птицы прядали, заслышав конский
храп.

Иголки черные, и сосен чешуя,
И брызжет из-под ног багровая брусника,
И веки пальцами я раздираю дико,
И тело хочет жить, и разве это — я?

И разве это я ищу сторевшим ртом
Колен сухих корней, и как во время оно,
Земля глотает кровь, и сестры Фаэтона
Преображаются и плачут янтарем.

* * *

Как сорок лет тому назад,
Сердцебиение при звуке
Шагов, и дом с окошком в сад,
Свеча и близорукий взгляд,
Не требующий ни поруки,
Ни клятвы. В городе звонят.
Светает. Дождь идет, и темный,
Намокший дикий виноград
К стене прижался, как бездомный,
Как сорок лет тому назад.

* * *

Как сорок лет тому назад,
Я вымок под дождем, я что-то
Забыл, мне что-то говорят,
Я виноват, тебя простят,
И поезд в десять пятьдесят
Выходит из-за поворота.
В одиннадцать конец всему,
Что будет сорок лет в грядущем
Тянуться поездом идущим
И окнами мелькать в дыму,
Всему, что ты без слов сказала,
Когда уже пошел состав.
И чья-то юность, у вокзала
От провожающих отстав,
Домой по лужам как попало
Плетется, прикусив рукав.

Хвала измерившим высоты
Небесных звезд и гор земных
Глазам — за свет и слезы их!

Рукам, уставшим от работы,
За то, что ты, как два крыла,
Руками их не отвела!

Гортани и губам хвала
За то, что трудно мне поется,
Что голос мой и глух и груб,
Когда из глубины колодца
Наружу белый голубь рвется
И разбивает грудь о сруб!

Не белый голубь — только имя,
Живому слуху чуждый лад,
Звучащий крыльями твоими,
Как сорок лет тому назад.



Стихи попадают в печать,
И в точках, расставленных с толком,
Себя невозможно признать
Бессонниц моих кривотолкам.

И это не книга моя,
А в дальней дороге без весел
Идет по стремнине ладья,
Что сам я у пристани бросил.

И нет ей опоры верней,
Чем дружбы неведомой плечи.
Минувшее ваше, как свечи,
До встречи погашено в ней.

СОДЕРЖАНИЕ

Маргарита Алигер. Судьба поэта 5

ГОСТЬЯ-ЗВЕЗДА (1929—1940)

Перед листопадом	19
Прохожий	20
Колыбель	21
«Река Сугаклея уходит в камыш...»	23
Дом	24
«Под сердцем травы тяжелеют росинки...»	25
«Если б, как прежде, я был горделив...»	26
«Записал я длинный адрес на бумажном лоскутке...»	27
* Страус в 1913 году	29
Град на Первой Мещанской	30
25 июня 1935	31
Игнатьевский лес	32
«Когда купальщица с тяжелою косой...»	33
Мельница в Даргавском ущелье	34
Портрет	35
«Отнятая у меня, ночами...»	36
«Я так давно родился...»	37
Дождь	38
Близость войны	39
25 июня 1939	40

«С утра я тебя дожидался вчера...»	41
Ялик	42
Звездный каталог	43
Цейский ледник	44
Сверчок	45

ПЕРЕД СНЕГОМ (1941—1962)

I

Только грядущее	49
Руки	51
К стихам	52
«Я учился траве, раскрывая тетрадь...»	53
Степь	55
Стань самим собой	57
Слово	59
«Я прощаюсь со всем, чем когда-то я был...»	60
«Я долго добивался...»	62
Кактус	64
Дерево Жанны	65
«Вы, жившие на свете для меня...»	67
Кора	68
Сократ	69
Карловы Вары	70
Утро в Вене	71
Анжело Секки	72
«Пускай меня простит Виццент Ван-Гог...»	74
Балет	75
В музее	77
Переводчик	79

Могила поэта	
I. «За мертвым сиротливо и пугливо...»	81
II. «Венков еловых птичьих лапки...»	82
В дороге	83
Земное	84

II

Иванова ива	85
Суббота, 21 июня	86
«На черной трубе погорелого дома...»	88
Беженец	89
Белый день	90
«Вы нашей земли не считаете раем...»	91
Проводы	92
«Стояла батарея за этим вот холмом...»	93
«Хорошо мне в теплушке...»	94
«Ехал из Брянска в теплушке слепой...»	96
Ночной дождь	97
«Тебе не наскучило каждому снится...»	98
Земля	99
«Вечерний, сизокрылый...»	100
Бабочка в госпитальном саду	101
Охота	103
Чем пахнет снег	104
После войны	106
* Предупреждение	109
Зуммер	110

III

«Снова я на чужом языке...»	111
Титания	112

«Сирени вы, сирени...»	113
* «Жизнь меня к похоронам...»	114
«Мне в черный день приснится...»	116

IV

Затмение солнца. 1914	118
Елена Молоховец	120
Юродивый в 1918 году	122
«Мы шли босые, злые...»	124
Стихи из детской тетради	125
«Кухарка жирная у скаред...»	127
Вещи	129
Фотография	131
Греческая кофейня	132
Верблюд	133

V

Мотылек	134
Посредине мира	135
Малютка жизнь	136
Голуби	137
Деревья	
I. «Чем глуше крови страстный ропот...»	138
II. «Державы птичьей нищеты...»	139
Дом напротив	141
Ранняя весна	143
«Над черно-сизой ямою...»	145
Загадка с разгадкой	147
На берегу	148
У лесника	150
Ода	151
Рукопись	152

ЗЕМЛЕ — ЗЕМНОЕ
(1941—1966)

I

Словарь	155
До стихов	156
Рифма	157
Поэты	158
Стихи в тетрадах	159
Эсхил	160
Камень на пути	161
Поэт	162
Стирка белья	164
Как двадцать два года тому назад	165
Через двадцать два года	166
Комитас	168
Степная дудка	
I. «Жили, воевали, голодали...»	169
II. «На каждый звук есть эхо на земле...»	169
III. «Где вьюгу на латынь...»	170
IV. «Земля неплодородная, степная...»	170
«О, только бы привстать, опомниться, оч- нуться...»	172
Поздняя зрелость	173
Явь и речь	174

II

Надпись на книге	175
Песня	176
Ветер	177
Первые свидания	179
Под прямым углом	181

Темнеет	182
Эвристика	183
Ночь под первое июня	185

III

Весенняя цыковая дама	186
Фонари	187
Шиповник	188
Дагестан	189
Из окна	190
Превращение	191
«Мне опостытели слова, слова, слова...»	192
Телец, Орион, Большой Пес	193
Снежная ночь в Вене	195
Зимой	196
Синицы	197
Конец навигации	198
Новогодняя ночь	199

IV

Малиповка	201
Жизнь, жизнь	202
Сны	204
Петровские казни	205
Бессонница	206
Ночная работа	208
Оливы	209
Книга травы	211
Полевой госпиталь	212
Дорога	214
Мщение Ахилла	215
Граммофонная пластинка	
I. «Июнь, июль, пройди по рынку...»	217
II. «Я не пойду на первое свиданье...»	217

V. СКАЗКИ

Кузнечики	
I. «Тикают ходики, ветер горячий...»	218
II. «Кузнечик на лугу стрекочет...»	219
Луна и коты	220
Телефоны	221
Серебряные Руки	222
Дриада	223
Две японские сказки	
I. Бедный рыбак	224
II. Флейта	224
Имена	226
Румпельштильцхен	228
Русалка	230
* Актер	231
* Лазурный луч	232
Пауль Клее	234
Четвертая палата	236
Кузнец	237
Новоселье	238

ВЕСТНИК

(1966—1971)

«И я ниоткуда...»	243
«Когда вступают в спор природа и словарь...»	244
«Я по каменной книге учу вневременный язык...»	245
Зима в детстве	
I. «В желтой траве отплясали кузнечики...»	246
II. Мерещится веялка	246
«Тогда еще не воевали с Германией...»	248

«Позднее наследство...»	249
«Я в детстве заболел...»	250
Поэт начала века	251
Ночная бабочка «Мертвая голова»	252
«Третьи сутки дождь идет...»	253
Вторая ода	254
Ласточки	255
«Дом без жильцов заснул и снов не видит...»	256
Первая гроза	257
«Вот и лето прошло...»	258
«Мне бы только теперь до конца не рас- крыться...»	259
«Мамка птичья и стрекозья...»	260
Приазовье	261
«Пляшет перед звездами звезда...»	262
«Во вселенной наш разум счастливый...»	263
«Наша кровь не ревнует по дому...»	264
«На пространство и время ладони...»	265
«Струнам счет ведут на лире...»	266
* «Стелил я снежную постель...»	267
* «Когда у Николая Морского...»	268
* «Домой, домой, домой...»	269
* «По льду, по снегу, по жасмину...»	270
* «И эту тень я проводил в дорогу...»	271
* Засуха	272
* Эребуни	273
* «Когда под соснами, как подневольный раб...»	274
* «Как сорок лет тому назад, сердцебиение при звуке...»	275
* «Как сорок лет тому назад, я вымок под дождем...»	276
* «Хвала измерившим высоты...»	277
* «Стихи попадают в печать...»	278

Тарковский Арсений Александрович
Т19 Стихотворения. Предисл. Маргариты Алигер. М., «Худож. лит.», 1974

288 с.

Взыскательным ценителям современной советской поэзии хорошо знакомо имя талантливого переводчика и поэта Арсения Тарковского. Его произведениям присуща напряженность мысли, безукоризненность и стройность формы.

В настоящую книгу входят оригинальные стихотворения А. Тарковского, в разное время печатавшиеся в периодической прессе, в его сборниках «Перед снегом», «Земле — земное», «Вестник», а также ряд новых стихов, написанных в разные годы. Собранные воедино, они дают отчетливое представление о творческом облике и творческом пути одного из наших современников, отмеченного «лицом необщим выраженьем».

Т $\frac{70402-178}{028(01)-74}$ 73-74

Р2

Арсений Александрович Тарковский
СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор В. Б о р и с о в а

Художественный редактор

Ю. Б о я р с к и й

Технический редактор

Т. Л ы с е н к о в а

Корректоры

Н. З а м я т и н а и И. Ф и л а т о в а

Сдано в набор 26/ХІ 1973 г. Подписано к печати 23/У 1974 г. А02221. Бумага типогр. № 1. Формат 70×90^{1/32}. 9,0 печ. л. 10,503 усл. печ. л. 7,037 уч.-изд. л. Тираж 25 000 экз. Заказ № 4677. Цена 82 коп.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Московская типография № 5 Союзполиграфпрома
при Государственном комитете
Совета Министров СССР
по делам издательств, полиграфии
и книжной торговли
Москва, Мало-Московская, 21